

Часть VII. ИСТОРИОГРАФИЯ И ЕЕ ИСТОРИЯ

Т. Н. Попова (Украина)

Историография в контексте дисциплинарной истории

«Постмодерная эпоха» вызвала закономерную трансформацию дисциплинарного ландшафта науки. Особо это коснулось т. н. рефлексивных дисциплин, объектом которых выступает само знание, процесс познания, интеллектуальный процесс в целом. Подвижность и условность дисциплинарных границ на когнитивном уровне, видоизменение собственного эпистемологического горизонта, столкновение различных дисциплинарных традиций вследствие межнациональных контактов и пр. приводят к неизбежной эволюции дисциплинарного образа конкретной области знания. Выработка стратегии по поддержанию собственного научного статуса с необходимостью заставляет обращаться к ретроспективному анализу – к *дисциплинарной истории*.

Дисциплинарная организация науки сложилась в европейской культурно-научной традиции в XIX в. Важнейшим фактором ее становления явилось формирование т. н. «университетской науки». Теория же дисциплинарности в своих основных чертах в европейской и американской историографии науки оформилась в 50-80-е гг. XX века, что было связано с разворачиванием междисциплинарных исследований и поиском оптимальной таксономической единицы для анализа науки, которой и стала научная дисциплина (НД).

Эволюция подходов к изучению науки была детерминирована эволюцией в восприятии «образов» науки: «когнитивный» – «социальный» – «социокогнитивный». Социально, а затем антропологически ориентированные «повороты» в научном познании обусловили выдвигание на первый план не «предмета науки», а ее «субъекта». Понятия «дисциплина», «специальность», «отрасль», «проблемная область» и др. для многих исследователей с последней трети XX в. стали обозначать конкретные интеллектуальные группировки. Среди параметров дисциплинарности в качестве ведущего вышла категория научное сообщество (НС) как разновидность интеллектуального сообщества. Выдвижение на первый план изучения «образцов деятельности» как стержня всех парадигмальных механизмов НС ориентирует на анализ самого НС, на исследование конкретно-исторической специфики формирования дисциплинарных НС (ДНС), структуры «коммуникативных сетей» внутри сообществ и между ними.

ДНС в этом случае предстает как определенный круг ученых, профессиональная автономность которого определяется параметрами:

складыванием конвенциональных основ в понимании содержания и специфики дисциплинарного научного познания; идентификацией со своей НД; выработкой парадигмальных канонов, идеологии и этоса, определяющих нормативность взаимоотношений и деятельности в системе специализированных научных учреждений; наличием системы профессионального специализированного образования, в которой закрепляется «учебный лик» данной НД, создаются нормативные компендиумы и осуществляется передача традиций в процессе подготовки новых поколений специалистов («воспроизводство» НС); складыванием специализированной системы информационно-коммуникативных связей между членами НС (конференции, симпозиумы и проч.; система изданий и др.); способностью ДНС вырабатывать стратегии по утверждению гражданского и поддержанию профессионального статусов. В связи с этим и организация т. н. «переднего края» науки, для которой характерен проблемно ориентированный тип исследований (на основе меж-интер-поли-транс-дисциплинарности) предполагает, как правило, включение в свой исходный принцип дисциплинарную матрицу.

Дисциплинарная структура науки всегда имеет конкретно-временную и регионально-национальную окраску, поскольку вписана в общий контекст культурного развития определенного социума и обусловлена спецификой институционального процесса.

Институциональным стержнем, определяющим дисциплинарную доктринальность, маркером самоидентификации, соотнесения с конкретной научной (историографической) традицией выступает «имя» научной дисциплины, в котором сконцентрирована социальность когнитивного образования. Понятие «контекста» – ключевого со времени возникновения интеллектуальной истории и вместе с ней эволюционировавшего – приобретает сегодня особое звучание при изучении «дисциплинарных историй».

Сравнительный анализ дисциплинарной истории отраслевых наук исторического профиля (субнаук истории) будет способствовать более ясному видению всего блока исторических дисциплин, их иерархии в системе исторической науки, в гуманитаристике в целом, преодолению «дисциплинарных барьеров» в научной деятельности историков, возможности прогнозирования трансформационных процессов, поиску различных вариантов междисциплинарного и полидисциплинарного синтеза в рамках углубляющейся специализации исторических исследований.

Истории исторической науки в этом случае принадлежит особое место, т. к. она выступает не только как «средство анализа» дисциплинарной истории всего «семейства» исторических дисциплин, но и играет по отношению к самой системе исторического профессионального знания «интегрирующую роль». При этом дисциплинарная история самой истории исторической науки, учет ее национально-региональной специфики поможет выявить типологическое разнообразие ее дисцип-

линарных образов в системе европейской и мировой историографических практик, дать основу более четкому осмыслению структуры рефлексивных дисциплин, выработке оптимальных принципов построения классификационных схем научного знания, в том числе на этапе его дисциплинарного развития. Создание «картографии» историографических дисциплинарных традиций с целью соотнесения с ними своего места в науке будет способствовать идентификационной устойчивости, совершенствованию парадигмальных оснований «историографического поприща», укреплению его эпистемологического статуса.

Н. В. Иллерицкая (РГГУ, Москва)

Историография в современном измерении

В историю исторической науки XX столетие войдет как время серьезных размышлений историков о природе, особенностях и возможностях своей науки и ее месте в системе научного познания.

Одним из главных достижений историографии XX века явилось понимание разрыва между тем, «как история делается», как она описывается историческими документами, и тем, как она моделируется историками. На первый план выходит проблема исторической реальности и ее репрезентации, а также выработки приемов и методов, позволяющих провести разграничение между реальностью и тем, как она осмысливалась и передавалась современниками и воспринималась потомками. Результатом стало оформление «интеллектуальной истории», предметное поле которой включает изучение феномена человеческих желаний и устремлений и их воздействия на эволюцию общества.

Резко усилилось внимание историков к формам устной и письменной речи, их сосуществованию и взаимодействию в текстах исторических документов, памятниках письменности и в научных исторических сочинениях, следствием чего стало обращение к теориям лингвистики и филологии, к постмодернистским практикам. В центре предметного поля изучения истории располагается «текст». И поскольку нет ничего кроме текста, история не имеет никакой цели, никакой завершенности. Она становится открытым пространством бесконечных трансформаций и интерпретаций. Сами по себе деконструктивистские идеи о тексте как пульсирующем смысловом пространстве постоянно возобновляющихся интерпретаций принесли пользу историкам. Они освободили исследовательское сознание от стереотипов, касающихся памятников письменности как законченных произведений, имеющих раз и навсегда данную идею, и акцентировали внимание на документе и научном сочинении как на знаковом культурном пространстве.

Однако деконструктивистская версия исключает всякую историчность, всякий культурный контекст. Занятие историей в таком подходе

лишается всякого смысла. В деконструктивистской стратификации гуманитарных наук, предполагающей синтез лингвистики, филологии и философии, места для истории практически нет: она ассоциируется с описанием конкретных ситуационных контекстов и с памятью.

Сама по себе идея противопоставления филологии и философии истории как науке исключительно эмпирической не нова. Под этим знаком прошло развитие гуманитарной мысли, начиная с рубежа XIX – XX вв.; оно направляло дискуссию вокруг герменевтики и ее возможностей на протяжении всех последующих десятилетий. В результате «лингвистического поворота» историческая наука попала в своеобразную «тюрьму языка», когда язык правит историком. И только в последнее время в теории истории наметился позитивный сдвиг в сторону постепенного переключения внимания от языка к опыту.

В современной исторической теории термин «историческая репрезентация» предлагается вместо термина «нарративизм». Последний создает иллюзию, что историческое сочинение представляет собой простую разновидность романа, в связи с чем литературная теория может сообщить нам все то, что необходимо знать об историческом тексте. При этом совершенно упускается из вида, что исторический текст в отличие от литературного должен быть адекватен прошлому. Теория исторической репрезентации стала теорией о том, как целое исторического текста связано с прошлым. Но в нашем отношении к прошлому есть один аспект, который не укладывается в теорию репрезентации. Речь идет об измерении исторического сознания или исторического понимания, благодаря которому нам вообще известно о существовании прошлого. Люди, которые всерьез относятся к практике историописания, ни сейчас, ни в будущем не смогут избежать ответа на вопрос, как мы связаны с прошлым. Ответ на этот вопрос коренится в понятии «исторический опыт», который идентифицируется как интеллектуальный опыт. Опыт больше не является невыразимой категорией. История ментальностей, история повседневности, интеллектуальная история могут рассматриваться как история опыта. Это «интеллектуальный эмпиризм», который сосредотачивает внимание исследователей на том, как мы воспринимаем прошлое и как опыт прошлого возникает в момент одновременного раскрытия и восстановления прошлого.

В конкурентной борьбе между теорией и опытом решающая роль принадлежит субъекту. Но одна из особенностей историописания состоит в том, что оно не терпит никакого ущерба от того, что индивидуальный историк занимает в ней главенствующее положение. И философия истории рассматривает это активное присутствие историка как ценный вклад, а не как признак познавательной беспомощности исторической дисциплины. Но может ли историк вступить в реальные, опытные отношения с прошлым? Ведь современное прошлое – это гораздо менее неподвижное и менее завершенное прошлое, чем оно пред-

ставлялось предыдущему поколению историков. И тогда ключевым вопросом становится следующее: не тот ли это исторический опыт, который помогает нам проломиться сквозь стены «языковой тюрьмы»?

Историки проявляют сейчас большой интерес к проблеме получения исторического знания, но практически не интересуются тем, как мы отделяем прошлое от нашей культурной и исторической идентичности. В этом смысле весьма плодотворна идея, что миф является конечным пунктом исторического опыта. Мифы – это те части нашего коллективного прошлого, которые мы отказываемся историзировать. Мифологизированное прошлое в не меньшей мере определяет идентичность цивилизации, чем ее историзированное прошлое. Ни миф, ни прошлое историзации не подлежат. Мы можем историзировать только свой способ обращения и с мифами, и со своим прошлым. А из этого следует, что над историей необходимо размышлять, а не описывать ее. В современной исторической науке размышлением над историей и технологиями историописания занимается историография, т. е. она функционирует в качестве заместителя истории и в этом состоит суть и назначение всех сочинений по истории.

Т. А. Сидорова (Сочинский филиал РГСУ)

Историография как интеллектуальная история: проблемы междисциплинарности и контекста

Полисемантизм понятия «историография» предполагает конкретизацию объекта в пределах заданной темы, в которой затронут один из её возможных смыслов – история исторического знания, история исторической науки. В этой системе координат предлагается позиционировать историографию как интеллектуальную историю, изучающую процесс осмысления исторического прошлого в пространственно-временных системах и субъективно-личностных восприятиях: персоналии, их предмет изучения, эпистемы, технологии, научный инструментарий. Истории исторической науки присуща функция ретрансляции в концентрированном виде сгустков коллективной памяти об историческом прошлом, если подразумевается совокупный опыт осмысления «исторического», воссоздание образов этого прошлого, отраженного в теориях и концепциях, несущих на себе печать индивидуальности их создателей и «знаков» их времени. Современное качественное исследование по истории исторической науки является комплексным, системным, опирается на междисциплинарный подход, синтезирующий возможности смежных наук. В итоговом тексте неизбежно присутствует, помимо собственно историографического материала, конкретно-исторический сегмент, который позволяет историографу, не навязывая категорического суждения, сохранить за собой право «прямой речи» как средства самовыражения и «Я» – сотворчества.

Работа историографического характера, выполненная в разрезе интеллектуальной истории, усиливает ответственность и усложняет исследовательские задачи историографа, который одновременно вступает в множественные разноуровневые контакты, осуществляет различные виды коммуникативных практик, погружается в сложную систему общения, в которой «Я» обнаруживает и познает себя в «Другом», и которое теоретически может реализоваться посредством диалога, монолога, дискуссии, молчания и даже вопля. Он изначально глубоко «задействован» в исследовательском процессе, обязан позиционировать себя определенным образом, его роль не может быть сведена к «ней», безучастной ретрансляции взглядов его источника.

В русле историографии, понимаемой как интеллектуальная история, открываются перспективы расширения и углубления историографического исследования посредством акцентирования двух взаимосвязанных аспектов: творческого потенциала источника в самом широком его охвате и интеллектуальных возможностей историографа. Анализ взаимодействия интеллектуальных миров (в первом случае статичного, взятого как завершенный результат научной деятельности, и обладающего динамикой – в отношении историографа) позволяет включить в историографическое исследование поиск не только различий, которые, вероятнее всего очевидны, но и точек соприкосновения, позиций преемственности научных традиций, исследовать не только «разрывы» и «разломы» в историописании, но и континуитет.

Развитие исторической науки наиболее ярко прослеживается в смене парадигм, которые, завершив свой исторический цикл, нередко имеют продолжение в другом, более позднем периоде (например, классическая парадигма). Базовые признаки и элементы всех известных парадигм имеют свою биографию и историю; их эмпирическая практика познается и транслируется посредством изучения научного опыта предшественников, т. е. историографическим путем, и постигается посредством анализа интеллектуальных процессов прошлого в их социокультурном контексте. Такой посыл позволяет сформировать представление о процессуальности и целостности исторической науки, об отсутствии принципиальной дискретности историографического процесса, который мыслится как движение идей, творчества, сохранение исследовательских традиций. Понимание историографии как интеллектуальной истории соответствует этим задачам.

Интеллектуальная история как специфический ракурс истории исторической науки исследует опыт осмысления исторического прошлого, его объяснительные модели и традиции историописания, запечатленные в трудах историков через творческие, личностные аспекты научной деятельности, специфику индивидуального восприятия «исторического», разработку исследовательской стратегии, познавательные ресурсы и механизмы конкретных персоналий, помещенных в широкий социокультурный контекст эпохи. Особенное раскрывается через об-

шее, не в отрыве от него, а «внутри» и посредством его исследования. Это общее – историографический процесс и единое историографическое пространство, фигурантами которого являются все историки, с Геродота и Фукидида до настоящего времени: писавшие историю, изучавшие и изучающие их наследие с позиций современного им уровня научных знаний, как правило, в русле доминирующих парадигм.

В этом пространстве историограф является весьма значимой фигурой. Он выступает как универсальный историк – специалист в области знания исторического прошлого и носитель знаний о способах и вариантах его моделирования и презентации. От интеллектуального ресурса историка исторической науки, помноженного на степень его профессионализма, во многом зависят полнота, аксиологическая значимость, отсутствие деформации образа исторического прошлого, созданного предшественником. Следовательно, историография как интеллектуальная история предусматривает трехуровневый подход к изучению истории исторической науки: исследование в полном объеме индивидуального проекта исторического прошлого, являющегося интеллектуальной собственностью «источника», варианта этого проекта как результата творческих усилий историографа, внутреннего и внешнего контекстов, влияющих на содержание обоих дискурсов. Такой исследовательский ракурс возможен в формате диалога, являющегося традиционной формой общения историков, позволяющей, преодолевая пространственно-временные границы, постичь тайны исчезнувших цивилизационных и интеллектуально-личностных миров.

Историографический текст, выполненный в традициях интеллектуальной истории, всегда сильноконтекстен, как по характеру связей и зависимостей его внутренних компонентов, так и с точки зрения его внешнего окружения. Контексты пересекаются, взаимодополняются и оказывают влияние на формирование основного текста.

Н. Н. Алеврас (Челябинский ГУ)

И снова про... предмет историографии (трансформация предметного пространства и категория «историографический быт»)

Современная историография, переживающая, по общему мнению, интенсивный процесс переосмысления своего статуса и научного образа, подошла к актуальной задаче приведения в систему многообразных исследовательских практик и соответствующих представлений о предмете данной дисциплинарной области (В. П. Корзун, В. Г. Рыженко, 2007). Не случаен интерес историографов, науковедов к опытам его различных толкований (В. П. Корзун, 2007). В течение XIX–XX вв. выдвигались альтернативные версии определений предмета историографии, отстаивались не совпадавшие представления о научных целях и ценностных ориентациях данной научной области. История

исторической мысли, история исторической науки, история исторических знаний – такой примерно путь прошла история разработки определений основного смысла историографии как автономной области исторического знания. В советский период бытования науки известный историограф А. М. Сахаров (1980) писал о «постоянном движении» и «расширении» предмета истории исторической науки, фокусируя внимание на концепции как основном его элементе. Перешедшее из опыта дореволюционной, а потом советской историографии представление о предмете историографии как преимущественно истории исторической науки явно требует корректировки.

Сегодня все чаще употребляется словосочетание «предметное поле/пространство» историографии; заявлены подходы нового понимания предмета историографии (А. В. Антощенко, 2001, 2003 и др.). Смысловые его границы не только существенно расширились, но наполнились новым содержанием, приобрели иную конфигурацию своей внутренней структуры, которая характеризуется ростом количества и постоянно меняющимся соотношением пропорций входящих в нее элементов, инкорпорированием новых категорий. Вероятно, теперь речь должна идти не просто о «расширении» предмета, а трансформации наших представлений о предмете историографии. В современной студенческой аудитории, например, не удастся уже в лаконичной и ясной форме представить объект и предмет историографии. Во-первых, сложно разделить объектно-предметные отношения данной сферы знаний, во-вторых, предметное пространство историографии уясняется только в результате рассмотрения практически всех ее основных теоретико-методологических аспектов. Широкой волной в предметное пространство входят такие понятия как историческая память, историческое сознание, исторический нарратив, научные коммуникации и др., позволяющие задавать новые параметры очертаний предметного поля историографии.

Новые акценты в понимание предмета историографии ставит и такой инновационный конструкт как «историографический быт». Появление данной категории явилось попыткой отделить сферу научной жизни от других способов социального бытия и обыденности человеческого существования. Относительно новое понятие, оно уже не только вошло в контекст историографических исследований, но и получило свои определения (Ю. Л. Троицкий, 1995; В. П. Корзун, 1998, 2000; М. П. Мохначева, 1998 и др.). Выдвинем версию о двух основных ипостасях данного понятия – онтологической и гносеологической. В первом, наиболее употребительном значении, оно, фактически, очерчивает существенную часть предметного поля истории исторической науки. В этом смысле под «историографическим бытом» принято обозначать экзистенциальное пространство творческой деятельности и коммуникативных практик сообщества ученых-историков. Определяя данным понятием различные проявления научной жизни историков в потоке их

научной повседневности и коммуникаций, нельзя не заметить, что как любая форма жизни, историографический быт проявляется в бесконечном многообразии его форм и моделей.

При гносеологическом подходе рассматриваемое понятие обретает познавательную-методологическую функцию. В этом смысле «историографический быт», во-первых, указывает ту область знания, которая является инструментом изучения жизни ученого-историка в различных ее проявлениях и закладывает ориентацию познавательного движения в направлении реконструкции научной повседневности. При таком подходе историография, как научная дисциплина, претендуя на широкий диапазон междисциплинарных заимствований – принципов и методологий из различных сфер гуманитарного знания, философии, художественной культуры, сама превращается в методологию. На уровне большого синтеза она становится познавательной площадкой в изучении жизненных стратегий и коммуникаций ученого, в понимании психологии историко-научного творчества, в выявлении особенностей нарратива, историографического письма, языка и стиля историописания.

Во-вторых, как способ конструирования прошедшей реальности (истории историографии) категория «историографический быт» может быть представлена как некий инструмент междисциплинарной природы для воспроизведения научной жизни историка. Данное понятие апеллирует к методологическому потенциалу теории социальных коммуникаций, фокусируя внимание на системе научных связей в пространстве исторической науки; при помощи методов социальной психологии погружает историографа в мир межличностных и внутринаучных отношений, индивидуального творчества; в науковедческом измерении позволяет спроецировать взгляд на ученого-историка в контексте институциональной истории науки. Общий социокультурный подход «вооружает» историографа системой других методологических ориентиров современных сфер знаний – культурной антропологии, интеллектуальной истории, персональной истории, науковедения, семиотики и др., позволяющих понять и объяснить феномен «мира историка» в метапространстве культуры.

В этой логике возникает соблазн предположить, не поглощает ли понятие «историографический быт» то, что называем сегодня историографией? Или границы «историографического быта» должны быть строго определены? Вероятно, положительный ответ на первый вопрос выглядел бы слишком экстремистским, но тот факт, что историографический быт, в его обоих смыслах – онтологическом и гносеологическом, занимает существенный сегмент предметного поля и познавательного инструментария науки историографии, не вызывает сомнений.

«Откуда ждать нового?» О понятиях новизны в историографии

В канун нового тысячелетия издавалось много книг, где описывались последние достижения в исторических исследованиях и утверждалось, что именно это будет определять облик историографии в XXI в. (см. статьи и книги Г.-В. Гетца, Й. Ярнута, А. Герро, Ж.-К. Шмитта, Ж. Ле Гоффа, О. Г. Эксле, П. Расина и др.). Наступление будущего представлялось как безличный процесс, движение которого мы можем лишь предугадывать по современному состоянию исследований. Но действительно ли «История» вынесет суждение, чему суждено состояться, а чему нет? Не являлись ли эти книги на деле попыткой активно повлиять на то, что считается «историографией будущего», а что нет?

Каталоги «работ последнего времени» интересны прежде всего тем, что в них *не* включается, что представляется как несуществующее. Какого рода работы подвергаются исключению, обнаруживается очень быстро; на пути к XXI веку мало, что изменилось по отношению к 1980-м и даже 1970-м годам. Но такие монографии и сборники поучительны и в другом отношении. Будущее историографии не является нам само собой, оно не возникает из сложения неведомых нам анонимных обстоятельств. Будущее историографии возникает из не всегда честной борьбы за то, что считать новым, каковы будут критерии новизны в историографии. И жестокость этой борьбы понятна, если оглянуться на недавнее прошлое, на то, как в нем сменялись критерии новизны.

Еще в начале XX века главным критерием новизны была новизна источников. Историк работал в архиве, находил нечто, включал в свое исследование и тем самым приносил что-то новое в наши знания о прошлом. Открытие нового было связано с обнаружением истинного, сущностного, ранее скрытого за принятыми условностями, предрассудками и традициями. Распространенное видение нового как подлинного и определяющего будущее тесно связано с таким пониманием культуры, согласно которому целью мышления является адекватное описание или миметическая репрезентация «мира» как он есть. При этом критерием истинности описаний выступает их соответствие отображаемой действительности. Такое понимание истории и культуры исходит из предпосылки, что непосредственный доступ к реальности, как она есть, для человека, обеспечен, и что соответствие или несоответствие действительности всегда может быть установлено. Установление этого соответствия не в последнюю очередь связывалось с применением научного метода, который в своей единственности и универсальности был повторяем и, таким образом, верифицируем, а также с представлением о возможности и необходимости обучения всякого будущего исследователя основам метода, образующего общий фундамент профессии. И по-

сколькx научный метод был, в принципе, един, он не мог выступать как критерий изменения и обновления историографии.

Но примерно ко второй четверти XX в. нахождение нового исторического материала перестало быть наиболее важным критерием новизны. Обнаружилось, что историк, даже стремясь к объективности, все равно не является нейтральным собирателем данных о прошлом. Он субъективен, и облик прошлого определяется во многом как раз тем исследовательским подходом, который он априорно выбирает (или принимает) и использует в работе. Этот, с точки зрения «позитивистов», недостаток историографии оказался довольно быстро обращенным в ее преимущество. Именно наш жизненный опыт, наше мировоззрение позволяют задавать прошлому все новые вопросы. Расширение знаний о прошлом в рамках такой историографии связано не только с обработкой новых документов, но и, в гораздо большей мере, с поиском новых интерпретаций тех источников, что уже имеются, с созданием новых подходов к их изучению.

Поиск новых подходов стал важнее работы с новыми источниками: так, публикация новых документов приверженцами марксистской социально-экономической истории уже не рассматривалась как новация теми, кто предпочел веберовские культурно-исторические подходы. Те, в свою очередь, именно на методологическом уровне были вынуждены отстаивать собственную новизну перед сторонниками применения в историографии «насыщенного описания» К. Гирца. Они сами также уже воспринимаются как «вчерашний день» в новейших публикациях о перспективах обновленного исторического материализма. Вопрос об источниках во всех этих дискуссиях оказывается второстепенным; одни лишь новые источниковые данные не способны защитить и оправдать то или иное историографическое направление.

Методологическая новация не просто дополняет уже существующие знания о прошлом, но и стремится к их отрицанию: исследование экономических структур должно дать принципиально новую картину прошлого по сравнению с традиционной политической историей; культурная история не просто расширяла круг рассматриваемых источников, она изменяла само понятие экономического, указывая на его культурную предзаданность. Настоящим критерием новизны являлся используемый метод, который мог даже противопоставляться знанию.

Но если раньше смысл новизны был связан с прогрессом знания, с приближением к некоей истине, к исторической правде, то теперь, когда приоритетным становится метод, это объяснение перестает быть приемлемым. Возникает вопрос: зачем вообще нужно стремиться к новому, если оно не способно открыть никакой конечной истины, если каждое новое историческое исследование не приближает нас к конечной цели обретения подлинного и полного исторического знания? Ответ на этот

вопрос носит обычно не столько теоретико-познавательный, сколько политико-эстетический характер: многообразии лучше единообразия.

В этом выходе за пределы эпистемологической аргументации можно увидеть основания для очередной смены критериев новизны в 1990-х гг. Почему постмодернизм воспринимается упомянутыми в начале авторитетными историками как «зло»? Потому что он угрожает сложившимся историографическим институциям, властному режиму различения работ, соответствующих и не соответствующих «профессиональному стандарту». Речь идет не о полном объективном сравнении всего, что делается в современной историографии, а о произвольном установлении режима определения новизны. Именно потому борьба за критерии новизны идет с применением самых разных средств. И именно поэтому важно устраивать альтернативные обсуждения того, как может выглядеть наша профессия в будущем.

С. И. Посохов (Харьковский национальный университет, Украина)

Многоликая историография: образы историографии как научной и учебной дисциплины

Историография – это специальная историческая дисциплина, которая изучает историю развития исторических знаний, исторической мысли, исторической науки. Однако часто под «историографией» понимают совокупность исторических работ по той или иной теме. Кроме того, различают «проблемную» и «теоретическую» историографию, «общую» и «предметную». Объект историографии могут расширять до пределов исторического сознания «вообще», а могут ограничить только «профессиональной историей». Предмет также понимается по-разному: для кого-то важнейшей задачей видится изучение «историографического процесса», другие исследователи склонны сосредотачивать внимание на исторической науке как социальном институте. В последнее время возрос интерес к «исторической памяти» и роли исторической науки в функционировании ее механизмов.

Размышления над особенностями истории как науки, попытки вписать ее в систему научных дисциплин отразились и на понимании роли и задач историографии. Постепенно возникло представление об историографии как науковедческой дисциплине, затем как о составной части интеллектуальной истории, начались дискуссии между сторонниками «сциентизации» и «культуризации» историографии. Свидетельством развития историографии стали новые термины, которые обозначили соответствующие направления исследований: «биоисториография», «региональная историография». Расхождения во мнениях свидетельствуют о том, что процесс институционализации историографии продолжается, и о роли теоретических построений в исторических исследова-

ниях в целом. Осознание функций и задач исторической науки во многом определяется взглядом на историографию. Не случайно, в этой связи, и появление такой дисциплины как «история историографии».

Достаточная развитость историографии как научной дисциплины контрастирует с содержательной частью и направленностью учебных курсов по историографии. Как правило, они, в соответствии с давними традициями, строятся по принципу критических обзоров литературы по определенной проблеме или периоду. Тем самым формируется представление об историографии как о необходимой части любого исторического исследования, как о работе предваряющего характера (образ «критической историографии»). Не случайно, еще весьма распространенным остается взгляд на историографию не как науку, а как на «отрасль», как на «этап и элемент» научного познания прошлого. Не менее распространенным является стремление строить курс историографии на принципе «аккумулирования ценного опыта», когда задачей видится поиск и отбор «проверенного на истинность» исторического материала. Данный подход страдает уже тем, что постоянно возникает соблазн сопоставить выводы и результаты прошедших историографических периодов с данными современной науки и отбросить «устаревшее знание», противопоставить «старое» и «новое».

Другой путь – «констатирующей историографии» – проявляется в том внимании, которое уделяется биографиям отдельных ученых и деятельности научных школ. При этом подробная характеристика жизненного и творческого пути историков далеко не всегда сопровождается показом социального и научного контекста. Героизация делается одним из определяющих моментов. Более широкое понимание проблемного поля историографии включает историю исторической мысли, исторических организаций и учреждений, развития исторической науки в контексте истории науки в целом, истории культуры, истории идей («обобщающая историография»). Однако на первый взгляд правильная по своей постановке задача в ходе реализации сопровождается чрезмерной политизацией, навязыванием идеологических стереотипов. Привязывание научного познания к «национальному возрождению» или политическим процессам формирует представление об исторической науке как науке идеологической. Социально-политические функции такой науки выглядят определяющими, а часто и единственными.

Очевидно, что названные «опасности» составляют потенциальную «угрозу». При взвешенном подходе и в рамках «критической», «констатирующей» или «обобщающей» историографии можно достичь главной цели курса – выявить специфику и этапы исторического познания, роль и влияние социокультурных условий, а также проникнуть в творческую лабораторию ученого, познакомиться с концепциями, которые повлияли на разработку крупных научных проблем. И все же, на наш взгляд, сама направленность курса, его структура должны соответствовать тем

новым идеям, которые акцентируют внимание на многомерности процессов, на зависимости научных образов от цели и научных методов, на важной роли субъективности в процессе познания.

Исходя из этого, студентам исторического факультета Харьковского университета, наряду с курсом «украинская историография», предлагается спецкурс «основы историографии», который строится на показе разных образов историографии: «культурологического», «наукоедческого» и «литературоведческого». Такая структура курса позволяет уяснить связь исторической науки и исторического сознания (тематический блок «историография как культурологическая дисциплина»), определить общие черты и отличия исторической науки от других наук (тематический блок «историография как наукоедческая дисциплина»), увидеть в работе историка творческий процесс (блок «историография как литературоведческая дисциплина»). При этом отбрасываются попытки абсолютизировать любую из «ипостасей», поскольку уже в структуре курса содержательные блоки уравновешены. Тот или иной «образ» привязывается к цели, которую мы ставим, анализируя отдельные историографические факты и историографический процесс в целом. Тем самым, на наш взгляд, формируется историографическая культура – как способ осмысления процесса познания прошлого и основ собственной познавательной деятельности.

О. Ю. Макаров (Нижегородский ГУ)

Историк и политика

Понятие «политический ангажемент» определяет степень вытеснения в творчестве историка науки политикой, степень участия его как профессионала в политических событиях современности.

Особая роль в привлечении внимания к этой проблеме закрепилась за Г. А. Бордюговым и В. А. Козловым, которые в книге «История и конъюнктура», пытаясь постичь «механизм конъюнктурного давления на науку», впервые из всех конъюнктурных факторов настойчиво выделили политику. Активно эту тему разрабатывает Г. Д. Алексеева, понимая под политизацией науки особый тип связи науки и современности, науки и социальной практики, науки и политики, а не просто отношения власти и науки. Эта политизация, идейная борьба по вопросам истории представляет собой «тип существования общественного сознания XX века», так как из всех общественных наук история является наиболее доступной для восприятия населением, а сами исторические знания способны структурироваться в его историческую память. На основании этих посылок Г. Д. Алексеева формулирует как одну из основных задач современной историографии изучение типа историка, занимающегося проблемами XX века.

Признавая заслуги названных историков, уточним, что основополагающее для темы «политического ангажмента» историка положение сформулировал Е. Топольский, определивший: ради объективности научного исследования «свою систему ценностей – идейные, политические, религиозные убеждения – историк может в определенной мере нейтрализовать». Значит, нейтрализация венаучных, в частности, идеологических, воззрений принципиально возможна. Авторы «Истории и конъюнктуры» развили эту мысль постановкой вопроса о необходимости «профессиональной автономии историка», т. к. «какой бы ни был в России политический режим, он, при любой мере допускаемого свободомыслия и плюрализма, неизбежно обнаружит тенденцию к созданию своей собственной исторической мифологии». Профессиональная автономия историка существует при любом политическом режиме, имея различную степень и формы, определяемые конкретными условиями.

На заседании президиума РАН 24 ноября 1992 г. было заявлено: всякое утверждение о возможности полной деидеологизации, деполитизации исторической науки совершенно несостоятельно. Эту констатацию поддержали авторы как учебной, так и исследовательской литературы (А. К. Соколов, М. П. Мохначева и др.).

Наметилась и тенденция выделять в решении проблемы политизации науки объективную и субъективную стороны. Первая состоит в том, что всякая общественная наука развивается в обществе и не может быть изолирована от него. Субъективная сторона – влияние на исторические концепции непосредственных занятий того или иного представителя исторической науки политической деятельностью. Эти свойства могут способствовать политизации исторических взглядов. Поэтому проблема политизации в творчестве того или иного историка – это всегда конкретно-историческая проблема. Ее решение должно учитывать всю совокупность объективных и субъективных условий.

Другой тезис сформулировал В. А. Козлов: «деполитизация исторических знаний и их деидеологизация – не одно и то же. Первое – в принципе возможно, и те, кто занимается историей даже непрофессионально, уже вырабатывают определенную личную «стратегию аполитичности», второе – немыслимо и невозможно...». Политологи подчеркивают это отсутствие критического сознания как важную черту сторонников идеологии и указывают, что идеология не просто циничная ложь, используемая с целью защиты определенных интересов, а естественная форма, в которой группы и классы осознают свое положение в социальной действительности. При оперировании в исторических исследованиях материалами современной истории дезориентирующая способность идеологизированной политики для многих историков усиливается их «личным отношением» (термин используется А. П. Логуновым) к теме исследования, поскольку изучаемое прошлое когда-то протекало на их глазах. Это обстоятельство актуализирует не

новую проблему «исторической дистанции» как важного условия свободы ученого от политической ангажированности.

Условно возможны два варианта влияния идеологии на исследователя. В первом случае она откровенно «командует» историком, осознающим свою зависимость. В ответ историк может, во-первых, открыто восстать, а во-вторых, попытаться обойти этот диктат при помощи, например, «идеологических заклинаний». Вероятно, этим определяется и то, что обычно историки работают в двух направлениях – для печати и «в стол». Второй вариант, когда многие историки стали жертвами идеологии, не осознавая этого, продемонстрировали судьбоносные для российского общества события конца 1980-х – начала 1990-х гг.

Абсолютная деидеологизация может быть только самообманом. Другое дело – освободить науку от целенаправленного служения идеологии, от примитивного понимания партийности, от намеренного служения ученого узкогрупповым политическим задачам. Предпосылкой этого может быть политическая демократия, плюрализм идеологий, но без гарантии положительного результата. В условиях демократии западного типа на историка могут «давить» конъюнктура рынка, опасность потерять работу и т. п. В любом случае, невозможно обойтись без осознания историком своей зависимости от идеологии. Ученый по-настоящему освобождается, когда понимает, что идеологическое отражение действительности, в отличие от научного, фиксирует не сущности, а явления, которые могут не совпадать с объективной реальностью. В практическом ракурсе проблема остается нерешенной, но в теоретическом плане ее можно считать закрытой, потому что суть ее сводится к выводу: «историк должен отличаться открытостью и вместе с тем глубоким скептицизмом. Он никому и ничему не может верить на слово. Он должен все проверять и на каждой стадии исследования стремиться нейтрализовать свои вненаучные воззрения» (Е. Топольский).

О. Б. Леонтьева (Самарский ГУ)

«Суд над историей» в контексте методологических поворотов (на примере российской исторической науки XIX–XX вв.)

Тема методологических поворотов в исторической науке, смены парадигм исторического мышления вызывает непреходящий интерес в отечественной историографии с начала 1990-х годов (Г. И. Зверева, Н. Е. Копосов, М. П. Лаптева, О. С. Поршнева, Л. П. Репина, М. Ф. Румянцева и др.).

Согласно концепции научных революций Т. Куна, смена научных парадигм происходит в ответ на насущные потребности ученого сообщества при невозможности решить какую-либо значимую проблему имеющимися средствами. Но, чтобы понять внутреннюю логику методологических поворотов в истории, следует учитывать, что эта наука

является не только отраслью научных знаний, но и частью исторических представлений общества. Поэтому правомерно поставить вопрос, могут ли общественные потребности в осмыслении прошлого оказать влияние на развитие методологии исторического исследования. Для ответа на него сопоставим две историографические ситуации в российской науке: второй половины XIX в. – и рубежа XX–XXI вв.

Изучая методологические перемены, совершившиеся в российской исторической науке во второй половине XIX – начале XX вв., отечественные историографы (Н. М. Дорошенко, В. П. Золотарев, В. П. Корзун, Г. П. Мягков, А. Н. Нечухрин, С. П. Рамазанов и др.) обычно характеризуют тот период как время становления, развития и кризиса позитивистской парадигмы. Безусловно, позитивистское стремление к научному объективизму и поиску законов развития общества, действующих по аналогии с естественнонаучными закономерностями, оказало сильнейшее воздействие на интеллектуальный климат эпохи.

Однако следует обратить внимание на взаимосвязь историографических процессов с переменами в общественном сознании. Позитивизм утвердился в пореформенной исторической науке лишь после того, как в атмосфере «оттепели» рубежа 1850-1860-х гг. сформировалась парадигма «суда над историей» (определение Н. И. Кареева). Ее породила сильная эмоциональная потребность сказать *правду* о недавнем «проклятом прошлом» и навсегда изжить наследие крепостничества. «Суду» подлежали и отдаленные исторические периоды: стремление понять причины народного долготерпения заставляло историков и деятелей искусства обращаться к фигуре Ивана Грозного, к правлению Петра I, к казачьим восстаниям, стрелецким бунтам и гонениям на старообрядцев.

Отличительная черта сформировавшейся парадигмы «суда над историей» состояла в том, что если в эпоху Просвещения общественная мысль судила деяния исторических персонажей с позиций вневременных нравственных законов, то в пореформенную эпоху она стремилась оценивать их деяния с позиций народной Правды (Н. И. Костомаров, Н. К. Михайловский, Ф. М. Достоевский).

Пореформенная эпоха стала временем стремительного развития как исторической науки, так и исторических жанров в русской культуре. Науку и искусство связывала общая программа – стремление воссоздать прошлое «таким, каким оно было на самом деле», достижение «эффекта реальности» (Р. Барт); при этом «сверхзадачей» русского реализма было постижение вневременной судьбы России и воплощение ее в архетипических образах.

С этой точки зрения можно рассматривать формирование позитивизма в российской исторической мысли 1870-х гг. как попытку преодолеть парадигму «суда над историей». На смену интересу к истории личностей и поступков пришел интерес к истории больших социальных

групп. Этическому максимализму своих современников позитивисты противопоставляли «объясняющий» подход к истории, основанный на принципах детерминизма и эволюционизма, стремлении понять объективные законы истории, вывести ее «формулу» или «схему» (В. О. Ключевский). «Объясняющему» подходу соответствовали первые опыты в сфере исторической психологии: стремление классифицировать человеческие характеры, выявить универсальные «нравственные типы», действующие во всемирной и национальной истории (П. Л. Лавров, И. Е. Забелин, Н. А. Рожков и др.). Результатом смены парадигм становится, с одной стороны, расцвет профессиональной науки, с другой – углубляющееся размежевание между наукой и историческими жанрами.

В определенном смысле эта ситуация повторилась в XX веке. Историческая культура советского периода характеризовалась господством «объясняющей» парадигмы и прагматически-воспитательных задач исторических жанров в искусстве. Со второй половины 1980-х гг., в период кризиса советской системы, в общественном сознании вновь, как и в эпоху реформ Александра II, утвердилась парадигма суда над историей. Страстное обличение недавнего коммунистического прошлого велось либо с точки зрения вневременных (общечеловеческих) нравственных ценностей, либо с позиций народной Правды (А. И. Солженицын). Как и в эпоху Великих реформ, стремительное расширение проблематики исторических и историко-публицистических работ сопровождалось появлением новых форм в искусстве: во многом благодаря тому, что для зрителя и читателя стали доступны запрещенные произведения 1920-1970-х гг.

Наконец, ситуация «суда над историей» породила потребность в новых интерпретациях прошлого. Но «поле» поиска возможных ответов на злободневные вопросы изменилось по сравнению с XIX веком: для понимания катастрофического опыта XX столетия все реже апеллировали к «объективным» социально-экономическим закономерностям, все чаще – к категориям менталитета и ценностей. Результатом отторжения прежних объясняющих схем стал взрывной интерес к истории ментальностей, к реконструкции картин мира, ценностных координат и моделей поведения, характерных для тех или иных эпох.

Безусловно, поворот отечественной исторической науки к исторической антропологии был подготовлен внутренней логикой развития самой науки, международного и междисциплинарного сотрудничества. И в то же время общественная атмосфера 1980-1990-х гг. облегчила переход от «объясняющей» парадигмы исторического знания к парадигме «понимающей», – подобно тому, как в XIX в. «суд над историей» проторил дорогу позитивизму.

**История в Латинской Америке (1968–2008):
критическое переосмысление**

Доклад суммирует предпринятое мной широкое исследование тенденций, преобладавших в латиноамериканском историописании после эпистемологического разрыва середины 1960-х гг., когда в гуманитарных дисциплинах и общественных науках доминировавших центров западной культуры расцвел пост-структурализм. Он был усвоен латиноамериканскими интеллектуалами с хронологическим запозданием, что отчасти объясняет, почему до середины 1980-х гг. наиболее важными отраслями исторического знания в регионе являлись экономическая и социальная история. К тому времени новые тенденции, обусловленные так называемым «культурным поворотом» повлияли на историографические сценарии в Латинской Америке.

Основными элементами, необходимыми для понимания динамики развития латиноамериканской историографии данного периода, являются, с одной стороны, контекст самого сдвига парадигмы, а с другой, отношения между различными центрами интеллектуальной деятельности (в т. ч. историописания) нашего региона с культурно доминирующими центрами. Особое внимание уделено интеллектуальному и институциональному влиянию Северной Америки.

Я прихожу к выводу, что история латиноамериканской историографии рассматриваемого периода отмечена радикальным изменением парадигмы. Это привело к отказу от холистских и ориентированных на синтез исторических нарративов, которые основывались на расхожих научных и объяснительных теориях, в пользу нового аналитического историописания, сфокусированного на предметах гораздо меньшего масштаба. Такой эпистемологический сдвиг сопровождался ощущением общей социальной фрагментации, появления небольших политических ниш, в которых оказывались изолированные исторические индивиды. Эти изолированные субъекты не считают себя составляющими нечто целое или составной частью некоей общности (государства) или воображаемого сообщества (нации): женщины, афроамериканцы, коренное население, евреи (и все остальные этнические группы), дети, старики, зеленые, геи и лесбиянки и т.д. Вслед за этим теория сократила свой охват и разделилась: теории для женщин, различных этнических групп, общественных классов, стариков и детей, представителей различных конфессий, экологов, сексуальных меньшинств и т.д. Общим вектором этих локальных идентичностей является культура, как бы ее не определять. Данный поворот в латиноамериканской историографии отражает ее историческую роль импортера идей и мод.

Строго говоря, можно утверждать, что новизна в латиноамериканской историографии осталась в прошлом, а настоящее наполнено стилизациями и копиями. Новыми, подлинно латиноамериканскими были теории зависимости, разработанные латиноамериканской интеллигенцией. Однако эти теории были отброшены с появлением постструктурализма, отрицавшего функцию теории. Нет сомнений в том, что за эти четыре десятилетия мир усложнился не только в геополитическом, но и в культурном смысле, благодаря сокращению расстояний и революции в системе воспроизводства, в семье, школе и средствах массовой информации. Однако мне кажется, что предложенный облегченный подход не является эффективным.

Пост-структурализм сыграл существенную роль в отказе от старых закосневших истин, особенно от тех, что вытекали из марксистской теории и в XX в. были возведены авторитарными режимами в ранг догмы. Но если пост-структурализм и позднее постмодернизм были важны своим иконоборчеством, эти интеллектуальные движения не нашли чем заменить низвергнутых кумиров на пьедестале. Простой отказ от теории не является наилучшим решением. Напротив, ее необходимо усовершенствовать таким образом, чтобы все исторические субъекты, получившие право голоса в результате постструктуралистской смены парадигм, могли быть вновь интегрированы в глобальную картину латиноамериканского общества, его истории и его взаимоотношений с миром.

По моему мнению, пансемиотический редукционизм, порожденный постструктурализмом, сводящий все аспекты реальности к воздействию дискурса и обращающий мир в текст, точно не является заменой теории. Не является ею и разделение этих субъектов в их замкнутых мирах. Они должны рассматриваться в рамках обобщающего подхода, а не фрагментарного и сектантского.

Наконец, говоря о будущем латиноамериканской историографии, нужно принимать во внимание настоятельную необходимость демократизации в области производства и распространения знания. Только когда будет обеспечен доступ к информации, а академическая продукция будет распространяться свободно, в Латинской Америке возникнет подлинная возможность определения новой программы исторических исследований; программа, учитывающая интересы латиноамериканцев.

К счастью, в таких странах, как Аргентина, Чили, Колумбия, Перу, Мексика и другие регионы Центральной Америки, а также Бразилия, появились и укрепились исследовательские центры, программы подготовки аспирантов, научные журналы и другие инструменты распространения научных знаний. Несмотря на все бюджетные и технологические ограничения, в регионе налажился взаимообмен, кооперация и научные дебаты, что облегчается сетью Интернет. Правилем академической жизни во многих странах являются важные конгрессы и конфе-

ренции. Большой вклад вносят представительные ассоциации. Региональные авторы начинают завоевывать международное признание. Эти сдвиги стали возможными потому, что латиноамериканские историки научились строить свое пространство при неблагоприятных обстоятельствах, при отсутствии средств, неэффективном управлении и под властью жестких политических режимов. Возможно, отсюда и теоретическая гибкость, открытость и рвение, свойственное растущему сегменту латиноамериканских историков. Еще многое предстоит сделать, однако путь уже очерчен, и многие на него вступили.

К. А. Агурре Рохас (Мексика)

Бродель в США и Латинской Америке: другая рецепция?

Латиноамериканский период в жизни Фернана Броделя начался в 1935 г., когда он принял неожиданное приглашение принять участие во Французской Миссии, которая помогла основать и построить Университет Сан-Пауло в Бразилии. Интеллектуальные связи, установленные Броделем в Латинской Америке, оказывали значительное влияние на его работу вплоть до 1953 года. Пребывание Броделя в Бразилии положило начало процессу, который в итоге трансформировал его видение форм написания истории. Сам он часто повторял, что его бразильский опыт позволил ему сформулировать ключевые вопросы, которых требовало его исследование Средиземноморья. Его отношения с США, продолжительные и возобновляемые, представляются более изолированными и замкнутыми. Даже в исключительном случае его диалога с И. Валлерстейном и контактов с Центром Фернана Броделя только символическая поддержка институциональной структуры и журнала позволила распространить в США некоторые из основных броделевских идей и установила преемственность проекта, разрабатываемого первыми и вторыми Анналами в 1929–1968 гг.

В обоих случаях изначально механизм интеллектуального обмена ассоциировался с определенными людьми, членами «авангарда элиты» в историографии и социальных науках в этих столь разных средах. Но роль этих элитных групп была различной. Когда мы говорим о группах *Cuadernos Americanos*, *Revista de Historia*, о ядре *Imago Mundi* или *Sociedad Peruana de Historia*, мы имеем в виду элиты, игравшие очень важную культурную роль в своих странах, выполнявшие функции ассимиляции тех идей, которые на годы стали общим культурным достоянием всей корпорации историков. Аналогичные интеллектуальные группы в США имели менее глубокое влияние в своей культуре. В случае с работами Броделя опосредованное распространение его теорий шло на периферии таких групп, без их активного участия.

В соответствии с этими несхожими сценариями поведения авангарда интеллектуальных групп, труды Броделя оказали различное влияние на историографию в этих регионах. Так, в Латинской Америке его вклад стал важным и даже решающим из-за активной рецепции «Анналов» и идей Броделя наиболее видными и влиятельными историками. У его работ было множество комментаторов, читателей и последователей, историков, вдохновленных его примером. Самые важные инновационные исследования, вышедшие в латиноамериканской историографии за последующие 40 лет, были написаны, в том числе, и под влиянием интеллектуального наследия Броделя. А в США широкое распространение книг Броделя, ставших дополнительным чтением в серии других трудов по историографии, вовсе не подразумевало, что их влияние превалировало в каждодневных практиках и идеях историков. Поэтому во многих случаях в историографии Северной Америки, за исключением Центра Фернана Броделя и некоторых исследовательских групп в Университете Джона Хопкинса, Чикагском университете, Принстоне и т.п., основные идеи Броделя были усвоены лишь формально.

В 1968 г. изменилась форма взаимодействия национальных исторических школ: все они стали более открытыми для многообразного интернационального обмена. Конец самодостаточности и изолированности североамериканской культуры открыл возможности для проникновения новых взглядов, для более восприимчивого отношения к внешним влияниям, и, в частности, к французской интеллектуальной культуре. Это объясняет, к примеру, широкое распространение в США работ Мишеля Фуко, Жака Деррида и структуралистов в последние десятилетия, и проливает свет на восприятие трудов Фернана Броделя.

Важное различие в восприятии Броделя в Латинской Америке и США обусловлено двумя разными типами культурной восприимчивости к *longue durée*. Бродель писал о двух культурных Европах: с одной стороны, Средиземноморская, римская, католическая Европа, и с другой – Северная, германская, протестантская. И именно Бродель ясно указал на то, что «Северная и Южная Европа воспроизвели свои расхождения и оппозиции по ту сторону Атлантики», подчеркнул происхождение различий цивилизационной идентичности латинской и англосаксонской Америки (за исключением французского Квебека).

Не удивительно, что в Латинской Америке вклад культур Средиземноморья инкорпорируется без особых сложностей, внутри системы общих культурных традиций и даже ежедневных обыденных практик. Добавим к этому ситуацию с огромным мировым влиянием Французской революции, которая воспринималась здесь с гораздо большей эмпатией, чем в других регионах мира: это указывает на очевидный процесс, делающий французскую культуру источником наиболее фундаментального и длительного влияния извне. Таким образом, это присутствие французской культуры в Латинской Америке подтверждает

ет аутентичность культурной реальности *longue durée*. Поэтому вполне объяснимо, что рецепция работ и идей Фернана Броделя была настолько быстрой и глубокой, и настолько решающей для историографии и социальных наук Латинской Америки.

В то же время в Северной Америке легко и бесконфликтно усваивается то влияние, которое идет от «родной» североамериканской матрицы, и с большим трудом воспринимаются те культурные коды и продукты, которые исходят из средиземноморского европейского мира. В целом, в Америке идеи Броделя ассимилируются более медленно и поверхностно, несмотря на огромные тиражи его книг и успешную коммерциализацию его работ.

Таким образом, можно предположить, что эти различия в рецепции трудов Броделя в США и Южной Америке проистекают из культурных идентичностей *longue durée*, которые за пять веков претерпели большие изменения – с одной стороны, Североамериканской Америки и, с другой стороны, молодой и исполненной жизненных сил цивилизации Латинской Америки.

В. В. Созинов (МГИМО)

Историографический плюрализм в постсоветской России

1. Важным следствием академической свободы в постсоветской России, стало складывание научного плюрализма, создающего режим конкуренции различных историографических направлений и школ.

2. Научный плюрализм, сложившийся в постсоветский период не означает равенства разных направлений, на том или ином этапе на ведущую позицию выходит какое-то одно из них. Смена лидерства в значительной степени обусловлена историческими перипетиями российского общества. Например, в эпоху горбачевской перестройки, во второй половине 1980-х гг., на ведущую позицию выдвинулось формационно-ревизионистское направление, потеснившее прежде монопольное ортодоксально-формационное направление, а после краха горбачевского режима на ведущую позицию выдвинулось либерально-западническое направление, в течение нескольких лет «переписавшее» под соответствующим углом зрения основные проблемы отечественной истории и многие проблемы истории зарубежной. Но последующий кризис либерально-радикальной модернизации в России на ведущую позицию выдвинулось то направление, которое я обозначаю как цивилизационное, и которое сосредоточивается на специфических характеристиках национальных историй.

3. В цивилизационном направлении на новейшем этапе, в первую очередь в изучении российской истории, сложилось разделение: два главных течения можно определить как либеральное и консервативное. Представителей этих двух направлений, если принять во внимание их

оценки судеб и возможностей российской цивилизации, можно обозначить при помощи классических определений мировой историографической терминологии – *пессимисты* и *оптимисты*. Пессимистами предстают либералы, а оптимистами – консерваторы. Либералы, при всех индивидуальных различиях между ними, исходят из критической (пессимистической) оценки нормативной сущности российской цивилизации. Консерваторы дают ей позитивную, а то и апологетическую оценку, исходят из превосходства духовной российской цивилизации над материальной западной и верят в то, что именно ей принадлежит будущее и ее ценности окажутся спасительными для человечества.

4. Цивилизационный подход наиболее выпукло присутствует в работах, которые можно назвать историософскими. Историки, занимающиеся конкретными проблемами истории, к этим работам обращаются редко или вообще игнорируют. Тем не менее, многие историки, часто неосознанно, восприняли цивилизационный ракурс, который в конкретно-исторических исследованиях означает признание России исторической общностью, обладающей спецификой. Такая позиция обладает радикальным отличием от формационного подхода, который делал упор на общих чертах различных стадий (формаций) российской и мировой, в первую очередь европейской истории, а также на синхронности исторических процессов в России и Западной Европе.

5. Теоретическая мысль в историографии постсоветского периода определенное время развивалась в направлении установления взаимодополнительности цивилизационного и формационного подхода. Эта установка сохранялась в качестве доминирующей до середины 1990-х гг., но затем началось «отбрасывание» формационного подхода и предпочтение цивилизационного в чистом виде, хотя, на мой взгляд, категории двух подходов могут использоваться как взаимодополнительные.

6. Принцип дополнительности, используемый рядом историков во взаимоотношении между формационным и цивилизационным подходом, плодотворен и в отношении других теоретических приемов. Так, одной из важнейших теоретических позиций, является междисциплинарная методология, но нельзя не отметить опасности, возникающей в случае механистического восприятия категориально-понятийного аппарата общественных наук. Например, одной из наиболее распространенных политологических категорий, воспринятых многими отечественными историками, стал *тоталитаризм*. Она применяется в изучении самых разных исторических периодов: при характеристике политической власти в эпоху Петра I, Ивана Грозного и даже Древнего Рима. Между тем тоталитаризм, как он определяется в политической науке, это феномен, который возникает в XX в., является порождением массовой политики и к более ранним эпохам отнесен быть не может.

7. Важным следствием историографической свободы и плюрализма стало принципиальное изменение отношения к зарубежной исторической науке. В советский период установка на *борьбу с буржуазной*

историографией означала, что возможность творческого восприятия тех или иных положений зарубежной историографии практически касалась только школ, близких к марксизму, а в отношении выводов, подходов, концепций иных школ предполагалась оппозиционная, зачастую непримиримая позиция. Сегодня эта установка уступила место *диалогу и дискуссии* со всеми без исключения направлениями и течениями мировой исторической науки, а главным критерием отношения к выводам и концепциям той или иной школы становится их соответствие исторической реальности, а не ценностно-мировоззренческие предпочтения.

8. Историографический плюрализм развивается в существенной мере под воздействием идеологических веяний. В мировоззренческом отношении двумя главными направлениями отечественной историографии выступают *государственническое* и *гуманистическое*. Принципиальное различие между ними определяется различием ценностных ориентиров. Для государственнического направления главной ценностью является величие российского государства, ради которого могут быть принесены любые жертвы. Для гуманистического направления главной ценностью и смыслом российской истории является «сбережение народа», улучшение его материального положения, духовного состояния, расширение объема его прав, в т.ч. политических и духовных.

9. Разные историографические группы, возникшие благодаря ситуации научного плюрализма, нередко замыкаются в собственных рамках, формируют режим научных автаркий. Это делает актуальным формирование культуры научного диалога, которая предполагает выработку способности вслушиваться и вчитываться в аргументацию оппонированных сторон, заимствовать те положения и факты, которые соответствуют исторической реальности. На такой основе возможно приближение к исторической истине научного сообщества в целом.

А. А. Коваленя (Республика Беларусь)

Современные методологические проблемы исторической науки Беларуси

В конце XX – начале XXI вв. резкий переход к системе ценностей и отношений, свойственных демократическому мировоззрению, кризис, охвативший белорусское государство и общество, породили падение интереса к общественнознанию, социальная значимость которого была преднамеренно подвергнута остракизму. Историческая наука не была исключением. На постсоветском пространстве история утратила методологические ориентиры. В образовавшийся вакуум хлынули теории и методологии, которые имелись в арсенале западной историографии. Об этом свидетельствует дискуссия по методологической проблематике, развернувшаяся в 1990-е гг. на страницах профессиональных историче-

ских изданий, в том числе в Беларуси и России. Результаты дискуссии, процесс перехода на рельсы плюрализма весьма поучительны:

- во-первых, жизнь и научная практика конца XX в. в очередной раз доказали: простое избавление от старых «методологических оков и цепей» путем их непродуманного сбрасывания, не приводят к торжеству мировоззренческого плюрализма, а открывают дорогу пропаганде национальной нетерпимости, ведущей к экстремизму;

- во-вторых, методологический кризис породил поляризацию в суверенной белорусской историографии. Демократизация общества, расширение архивной источниковой базы, провозглашение свободной конкуренции идей и концепций дали возможность активизировать научную деятельность историков, глубже осмыслить сложные процессы прошлого. Но в то же время тотальное ниспровержение требований методологии способствовало формированию особого типа наукообразности, когда аргументация, доказательность становились излишними в силу навешивания ярлыков и неприятия позиции оппонентов;

- в-третьих, в истории обострились «застарелые» методологические проблемы различия/различения: прошлое/история, объект/субъект, событие/факт, объективизм/релятивизм, отражение/постижение, методология/идеология и др.;

- в-четвертых, проблема социального статуса/значимости исторической науки осложнялась еще и тем, что последней свойственна мировоззренческая функция-миссия – *magistra vitae* – как говорили древние. Между исторической наукой и государственной идеологией каждой страны существует неразрывная связь. Ибо история без идеологии превращается в примитивную фактографию, а идеология без истории утрачивает свои корни, духовную «плоть и кровь», накопленную в опыте предшествующих поколений, трансформируется в маргинальную деструкцию, направленную против государства и общества.

С 1991 по 2003 гг. идеология белорусского государства как система гражданских ценностей и приоритетов, как примат практической политики институтов государственной власти фактически методом проб и ошибок только нарабатывалась. В центре внимания историков, политиков, общественности был вопрос о формах и характере государственности, что существовала на территории Беларуси в IX–XX вв.

В условиях политической борьбы по проблеме белорусской государственности и под флагом методологической реформации в национальной историографии сложилось три методологических направления. Первое олицетворяет тенденцию, связанную со стремлением перечеркнуть достижения исторической науки прошлых десятилетий. К этому направлению принадлежат историки, считающие, что этнонациональный фактор является не только движущей силой истории, но и методологической категорией. В 1991–1995 гг. они дружно заявили о том, что белорусы, наконец, должны иметь «свою объективную историю». Это течение в современной белорусской историографии определяется как

нациографическое. Процесс пересмотра выводов советской историографии не отличался ни научностью, ни оригинальностью. Многие историки просто некритически позаимствовали идеологемы, содержащиеся в западной и белорусской эмигрантской историографии периода «холодной войны». Мощные нациографические течения такого типа сложились практически на всем постсоветском пространстве.

Второе течение, базируясь на обновленной материалистической методологии, защищало идею целостности исторического знания и исторической науки, проводило идею научной преемственности советской и суверенной белорусской историографии. Это течение белорусские исследователи определяют в качестве нового исследовательского эссенциализма. Очевидно, что, несмотря на все недостатки концепции линейного развития всемирного исторического процесса, она сохраняет свою востребованность и научность во всех отношениях: теоретико-методологическом, мировоззренческом и политико-идеологическом. Всестороннее изучение процессов глобализации только усиливает позиции линейной концепции. В современной белорусской историографии к этому направлению принадлежат В. Е. Козляков, В. К. Коршук, И. Ф. Романовский, Е. К. Новик и др.

Приверженцы плюралистического взгляда создали собственное направление, которое белорусские методологи определяют в качестве функционально-факторного плюрализма. В современной белорусской историографии к нему принадлежат П. И. Бригадин, М. П. Костюк, А. А. Коваленя, В. Ф. Ладысев и др. В целом функциональные плюралисты не искали «третью линию» в философии, они стремились «синтезировать» и превратить в научную систему методологические принципы и подходы, которые были в арсенале историков-материалистов и историков-идеалистов (Смехович Н. В. История и метод. Мн.: РИВШ, 2004. С. 52). Противоречивость плюралистической методологии – одна из важнейших проблем исторической науки.

И. М. Савельева (ГУ-ВШЭ, Москва)

Классики в исторической науке: «свои» и «чужие»

В докладе предполагается выявить корпус актуальной классики и систематизировать формы присутствия классических сочинений в современной исторической науке.

Несмотря на постоянное внимание к трудам предшественников, у историков сегодня не так легко обнаружить фигуры актуальных «классиков». Если исходить из тавтологии: «классики – это те, кого считают классиками» – то классиками, конечно, остаются античные историки. Однако их работы давно перешли в разряд «источников», тем самым по отношению к ним значение понятия «классика» оказывается сугубо

историческим. Если же говорить о *социологическом* подходе, то ситуация с историками в явном виде не напоминает ни ту, что сложилась в общественных науках («Classics are earlier works of human exploration which are given a privilege status vis-à-vis contemporary explorations in the same field» – Джеффри Александер), ни ту, что существует в искусстве (создание канона, сохраняющего свою эстетическую ценность). Хотя, имея в виду отдельные исторические сочинения как род литературы и их риторические качества, можно, именно в этом смысле, тоже говорить о них, как о *классических*.

Анализ статуса классики в истории выводит на более общие проблемы. Это – модели развития науки и структура научного знания, включая различия между естественными, общественными и гуманитарными науками. По существу на территории историков продолжается старая дискуссия о характере наук о человеке, начатая во времена Вильгельма Дильтея, Генриха Риккерта и Вильгельма Виндельбанда, которые обосновали противопоставление наук *объясняющих* и наук *понимающих*. Вспомнив в этой связи известную шутку Льва Ландау о делении наук на естественные, не естественные и противоестественные, мы попробуем на примере статуса классики в историографии доказать достаточно провокационную гипотезу, состоящую из трех тезисов, в которых история последовательно выступает как «естественная», «не естественная» и «противоестественная» наука.

В исторической науке очень высоки роль и статус эмпирических исследований (это не работа вспомогательного персонала или агентств по сбору и анализу данных, а «нормальная наука»). Эмпирическая история больше других социальных наук похожа на «естественную науку» – во всяком случае, она намного более «точная», чем многие социальные и гуманитарные дисциплины. Как показывают исследования по библиометрике, в эмпирической историографии, так же как в естественных науках, подавляющая доля ссылок приходится на относительно недавние работы. Кроме того, историки, как правило, строят объяснения на базе тех новых источников, которые сами же и обрабатывают. Тем самым фактор новизны или, наоборот, устаревания исследования оказывается, возможно, более важным, чем в других науках о человеке.

Отсюда можно сделать вывод, что в истории, как и в естествознании, бесспорную важность имеет *последовательное* накопление научных результатов во времени. Правда, из-за недостатка ресурсов история как кумулятивное знание складывается не путем инкорпорации предшествующего в последующее, а путем наслаивания.

В теоретической историографии проблема состоит в том, чтобы определить, какие работы и по каким основаниям могут претендовать сегодня на статус актуальной классики. Теоретическая история, как и другие социальные («неестественные») науки, признает классическими

работы, предлагающие сильные объяснительные модели. Но собственно исторических теорий в XX в. произведено было совсем немного, а созданные в XIX в. в основном безнадежно устарели. Кроме того, многие признанные классическими теоретические работы (Алексиса де Токвиля, Йохана Хейзинги, Фернана Броделя, Яна Ассмана и др.) представляют собой неопределенные туманные теории (*vague theories*), пригодные в силу этого недостатка (или достоинства) к неограниченному употреблению. Последнее замечание, конечно, в полной мере относится не только к историкам, но и к широчайшему кругу социальных и гуманитарных классиков.

Применительно к современной исторической науке бессмысленно говорить о роли классики в целом, точно так же как непродуктивно рассуждать в таком ключе о физике, биологии, психологии или языковедении. Современное научное знание высоко диверсифицировано: у специалиста по молекулярной биологии – одни классические работы, у генетика – другие. Точно так же естественно предположить, что у историков, специализирующихся в разных субдисциплинах, будут *разные* «классические» исследования, созданные основоположниками различных направлений или наиболее яркими их представителями. Поэтому проблему исторической классики плодотворно рассматривать в рамках отдельных исторических субдисциплин, а часто и периодов, стран и идейно-политических направлений.

Поиски исторической классики можно также вести и в области научных школ. Научная школа, как и специализированное направление, может задавать тематические ориентиры. Однако главная ее характеристика – манифестация исследовательского подхода и задание модуса исследования. Сотни историков-эмпириков могут вести исследования в духе той или иной школы, не ссылаясь на работы ее основателей, но они знают, к какой школе они принадлежат.

Теоретическая история находится в весьма специфических отношениях с другими социальными и гуманитарными науками. В историографии к концу прошлого века сложилась ситуация доминирования, условно говоря, «чужих» классиков, что и позволяет определить историю в этом смысле как науку «противоестественную». Если роль больших философских теорий (жизненных циклов, прогресса, регресса, Эроса и Танатоса) в исторических построениях, к счастью, явно уменьшилась, то значение концепций и моделей из практически всех социальных и гуманитарных наук в небывалой степени возросло, что влечет за собой и позитивные и негативные последствия для развития самой исторической науки и состава ее классического наследия.

**История философии и изучение «эзотерической традиции»
в XVIII – XX вв.**

История философии как дисциплина выросла из истории прогресса, истории развития человеческой мысли. Она начала развиваться еще в XVI в., но впервые ее кодифицировал Пьер Гассенди, французский философ и оппонент Рене Декарта. Декарт не отвергал чувственного восприятия как источника информации и полагал, что его невозможно отрицать, однако он считал, что чувственные восприятия ненадежны. Истинной была лишь математика – и личность, мыслящий субъект, устанавливающий существование Бога.

Гассенди, с другой стороны, полагал, что познание основывается на чувствах, однако человечеству потребовался большой промежуток времени (от Фалеса до его дней), чтобы научиться говорить о своем знании и хотя бы относительно точно описывать материальный мир. Поэтому Гассенди оценивал философов в соответствии с тем, как они размышляли. Он считал, что если философы не использовали индуктивные рассуждения, они ошибались.

В XVIII в. в лютеранской Германии малоизвестный сегодня историк философии Якоб Брукер с интересом прочел Гассенди и написал свою историю философии (*Historia critica philosophiae*), повествовавшую о развитии и прогрессе знания от Адама до Лейбница и Ньютона. При этом Брукер классифицировал философов прошлого. Те из них, кто использовал символ и миф в своих размышлениях – а среди них были халдеи, египтяне, китайцы, американские индейцы, последователи Каббалы и неоплатоники, – соответственно, склонялись к ошибочному способу размышлять. В результате Брукер, не планируя того, создал новую историю культур, историю ереси и историю эзотерической мысли. А это, в свою очередь, имело любопытные, а порой и трагические последствия. Тем, кто, по мнению Брукера, размышлял неправильно, была приписана определенная версия культуры.

История развития индуктивных рассуждений – не единственная традиция, описывающая цивилизации: войдя в археологический музей Бордо во Франции, я была поражена, увидев встречающее посетителей высказывание – в основе всего была геометрия. Оно восходит к Декарту, полагавшему геометрию единственно достоверной.

Непонимание других цивилизаций имело серьезные последствия: китайцы не были отсталыми, просто европейцы не могли прочесть их письмо. Культуры народов Америки, Африки, Сибири были не поняты, т. к. их цивилизации были неверно классифицированы, а впоследствии и разрушены, поскольку не считались достойными сохранения.

Можно изучать историю философии как таковую, или же ее можно понимать, как одну из версий истории мысли, истории цивилизаций.

**Историографическая компаративистика:
возможные грани исследования**

Перспективы реализации идеи межкультурной компаративной историографии, предложенной Й. Рюзеном, предполагают максимально «плотное описание» национальных историографий [Репина Л. П. Историческое сознание и историописание // «Цепь времен»: проблемы исторического сознания. М., 2005. С. 11]. Если разводить понятия «Утопия как конечная точка» и «Утопия как процесс», как это делается в современных исследованиях мира [Matsuo M. Peace and Conflict Studies. A Teoretical Introduction. Hiroshima, 2005. P. 5-7], то поистине грандиозный замысел немецкого методолога, вероятно, не лишенный элементов Утопии, привлекает обозначением контура долгосрочной программы сотворчества историков в рамках земного научного сообщества.

Для исследователей того или иного историографического феномена, будь то тексты отдельного историка, целого направления или национальной историографии в целом, особую значимость приобретает изучение предопределившего эти феномены научного пространства, как правило, не совпадавшего с границами национальных государств. Неизбежным становится формулирование задач из области историографической компаративистики, выработка программы сопоставления масштабных текстов по ряду значимых параметров.

Исследователь, изучающий отечественное историческое наследие, сопоставляя его с теми образцами, которые были созданы в рамках европейской историографической традиции, имеет возможность при разработке такой программы опереться на довольно значительное число работ, появившихся в последние десятилетия предшествующего и в начале текущего столетия. Всплеск интереса к исследованиям в «пограничных» областях знания, междисциплинарному синтезу, позволил значительно расширить исследовательский инструментарий. Помимо традиционного для историографического анализа внимания к «характеру использования источников и проблеме достоверности пресловутых исторических фактов», перед исследователями ставятся инновационные для историографии отечественной истории задачи: фиксировать «знаки авторской активности, формы присутствия нарратора в тексте, специфические способы игры со временем, процедуры осужечивания...» [Сыров В.Н. Введение в философию истории: Своеобразие исторической мысли. М., 2006. С. 7-8, 103].

Методологически оправданным представляется перенесение принципов составления «генетического досье» из источниковедения в область историографических исследований [Данилевский И. Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы источниковедения летопис-

ных текстов. М., 2005. С. 87-93]. Учитывая, что сопоставление уровня изученности историографических и летописных текстов явно не в пользу трудов историков, можно предположить, что в повестку дня столь масштабная задача вряд ли будет включена сегодня или завтра.

Значительное аналитическое поле может развертываться вокруг проблем коммуникативной стратегии текста, соотношения в нем так называемых «канонических фигур» и персонажей «второго и третьего плана», которые могут рассматриваться сквозь призму трансформации системы ценностей, религиозных предпочтений, гендерных ролей.

Синтез или, скорее, симбиоз, гибридизация исследовательских приемов, используемых в политологических и исторических исследованиях, уместны в той области историографии, которая связана с изучением творчества историков, проявлявших преимущественный интерес к политической истории. Сопоставление трактовок роли монархического, аристократического и демократического начал в политической системе, особенностей политической элиты, специфики становления политических лидеров, их влияния на политическую сферу; взаимоотношений между государством и церковью также позволяют выявить общее и особенное в текстах, генетически связанных.

Не исключено и включение в число исходных параметров тех кризисов, которые предопределили, по Й. Рюзену, «различные способы образования исторического смысла». Предлагаемая им в качестве аналитического инструментария типология кризисов [Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времен». С. 41–42] позволит зафиксировать соответствие кризиса идентичности, пережитого историком или научным сообществом, тому или иному идеальному типу. Но перед исследователем неизбежно встанут непростые вопросы. При компаративном анализе, например, текста «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина и трудов его предшественников, историков англо-шотландской историографической школы, потребуется определенная градация тех кризисов, отголоски которых «растворены» в нарративах, чья блестящая литературная форма была условием доступа к читающей аудитории. Насколько возможно вычленив составляющие такого «суммарного» кризиса? Какой кризис – давний в собственной стране или современный историку, но в ином государстве, – превалировал в том или ином случае? Принимая сегодня в арсенал историков категорию «травма», составляя перечень кризисов, производный от потрясенных политических, не сведем ли мы снова изучение историографического наследия к исследованию политических взглядов историков?

Впрочем, представляя возможные риски, нельзя не видеть, что перспективы «*reductio ad absurdum*» сложно избежать при любом из приемов исследования. Очевидная для исследователей потребность в развитии и разработке новых методик компаративного анализа, позволяющих подойти к мировой истории как к истории действительно все-

общей [Репина Л. П. Всеобщая история в российской интеллектуальной традиции // Диалог со временем. Вып. 17. М., 2006. С. 5], наряду с состоявшейся легитимацией любых исследовательских стратегий, очерчивает сегодня и пространство возможностей, и сложности отбора исследовательского инструментария. Определять выбор, в конечном итоге, будет не столько проверенная эффективность методик, сколько максимальное соответствие историческим интересам исследователя, специфике сопоставляемых текстов и уровню их изученности.

Р. Б. Казаков (РГГУ, Москва)

Н. М. Карамзин: параметры истории метода источниковедения

Комплекс сочинений Н. М. Карамзина, главное место среди которых принадлежит двенадцатитомной «Истории государства Российского», выступает репрезентативным корпусом источников для суждений о становлении и эволюции источниковедения в России как самостоятельной отрасли гуманитарного знания применительно ко второй половине XVIII – первой четверти XIX вв. Исследования последних лет (работы В. Э. Вацура, В. Н. Топорова, Н. Д. Кочетковой, С. О. Шмидта, И. З. Сермана, В. П. Козлова, Л. А. Сапченко и др.) позволяют актуализировать размышления о методе исторических исследований Карамзина, его приемах работы с источниками. Справедливо говорить, исходя из представлений об источниковедении как об учении об историческом источнике, сформированном на рубеже XIX–XX вв., о длительном этапе формирования источниковедения, начиная с момента становления в России исторической науки и до рубежа XIX–XX вв.

Возникает вопрос и о хронологии различных этапов этого процесса, и о его характерных чертах. Можно предложить разные исследовательские стратегии изучения феномена формирования источниковедения в составе исторической науки и его методов. Значимой и успешно разрабатываемой в российской историографии будет история изучения различных концепций исторического прошлого, сложившихся в трудах историков эпохи существования профессиональной исторической науки (примером тому могут быть учебники историографии как университетской дисциплины). Эффективен и другой путь – детальное рассмотрение исторических взглядов и деятельности на поприще исторической науки того или иного представителя исторической профессии (монографические труды о творчестве историков XX века занимают значительное место в корпусе историографических исследований). Кроме того, это и достойный способ оценить вклад ученого в развитие исторической науки (монографические исследования творчества русских историков прошлого, историков XX века, труды учеников с анализом творчества учителей и наставников в науке). Наука XX века предложи-

ла и новую проблематику интереса исследователей – повседневность исторической науки и повседневные поведенческие практики представителей ученого сообщества, инфраструктура и институты исторической науки, имеющие свою историю формирования и эволюции. Все эти стратегии исследования имеют свои достоинства, границы возможностей, свою проблематику и корпус исследовательской литературы.

Предложу в качестве исходной гипотезы, основанной на собственных наблюдениях и значительном массиве историографии, еще один возможный путь изучения феномена источниковедения в России. Источниковедение как учение об источнике и методе его познания позволяет предложить следующую стратегию исследования – история источниковедения как история метода источниковедения в русской исторической науке. Данная стратегия реализуется при понимании того факта, что генезис исторической науки в России обладал значительной спецификой по сравнению с путями ее складывания в науке Западной Европы Нового времени. Ведущими, наиболее заметными и, вероятно, определяющими параметрами следует считать отсутствие в России университетской традиции с соответствующими практиками презентации и передачи научного знания, отсутствие теологии с изощренной техникой толкования текстов Св. Писания для приискания аргументов в пользу собственной точки зрения и соответствующими практиками рефлексии, отсутствие возможности опираться на «образцовые» труды античных и раннесредневековых авторов, функционировавших в культуре в основном на латыни. Все это предопределило ведущую стратегию исторических исследований в России с начала становления истории как науки – путь источниковедческих разысканий как единственно возможный для получения адекватного исторического знания, которое могло бы быть в дальнейшем принято формирующимся научным сообществом. В рамках этой познавательной стратегии выполнены труды XVIII века по истории России, определяющие лицо русской исторической науки. Не эту ли стратегию формировали и знаменитые академические экспедиции XVIII века, и обязанности членов Императорской Академии наук публиковать результаты собственных исследований в доступной для широкого круга читателей форме?

Что составляет метод исторической науки периода ее становления и самоидентификации в пространстве науки? Ответ не может быть простым, поскольку сложно и неоднозначно само понимание метода науки. Предложу минимальный набор параметров изучения метода источниковедения в России XVIII–XIX вв.: 1) корпус источников, избранных историками для изучения, извлечения информации с последующим построением собственного нарратива; 2) представления об объекте собственного исследовательского интереса и опыты систематизации этих объектов; 3) практики исследования – приемы изучения источников, в

том числе с помощью приемов вспомогательных исторических дисциплин, и формы презентации полученного исторического знания.

В этом контексте сочинения Н. М. Карамзина показательны для исследования в области истории источниковедения. В его сочинениях впервые в русской исторической науке представлены источники всех имеющихся типов (если прибегать к современной типологии). Карамзин таким образом формирует «эталонный», образцовый корпус источников, который необходимо положить в основу крупного исторического сочинения. Принципиально более важное место, по сравнению с трудами предшественников и вступительными разделами их «Историй», займет Предисловие к «Истории государства Российского», давшее опыт систематизации источников, выделения их устойчивых групп и сформировавшее перечень вопросов, на которые необходимо ответить во введении к историческому исследованию (актуальность проблемы, история ее изучения, цели и задачи автора и приемы его работы). Наконец, «История государства Российского» дала образцы использования возможностей вспомогательных исторических дисциплин в изучении источников, в том числе и для построения «большого нарратива» (опыт построения текста «Истории» и текста Примечаний), а также нового, не свойственного исторической науке XVIII века, понимания природы и возможностей источника, имеющего свою историю происхождения, бытования и изучения.

А. В. Топычканов (РГГУ, Москва)

Вклад «школы» В. О. Ключевского в разработку методологии истории быта и перспективы ее ре-актуализации

Содержание понятия «школа» В. О. Ключевского – предмет многолетних историографических дискуссий. В данной работе рассматривается общая для творчества ученого и его учеников тема – история быта. В. О. Ключевский обратился к историко-бытовой тематике уже в 1860-е гг., когда работал над выпускным студенческим сочинением «Сказания иностранцев о Московском государстве» и очерками по истории русского быта для русского издания книги П. Кирхманна «История общественного и частного быта: Чтение в школе и дома» (М., 1867).

В. О. Ключевский разделял быт на экономическую (хозяйственную) и юридическую (политическую) формы. К экономическому быту он отнес формы расселения и в особенности колонизацию, жилые места, хозяйственные промыслы и метрологию [Ключевский В. О. Терминология русской истории // Соч.: в 9 т. М., 1989. Т. VI. С. 191]. В рамках юридического быта он предлагал изучать взаимосвязь деятельности государственного учреждения с «исторической жизнью» общества

[Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси // Ключевский В. О. О государственности в России. М., 2003. С. 12].

Считая «целью исторического изучения... познание происхождения, хода, условий, форм и природы человеческого общежития», В. О. Ключевский историю быта отнес к приоритетным направлениям исторической науки [Ключевский В. О. Соч.: в 9 т. М., 1989. Т. 6. С. 31]. В «Курсе русской истории» он писал, что «не одними канцеляриями и рынками движется историческая жизнь; но с них удобнее начинать изучение этой жизни. Подступая в изучении к известному обществу с политической и хозяйственной стороны его жизни, мы входим в круг тех умственных и нравственных понятий и интересов, которые уже перестали быть делом отдельных умов, личных сознаний, и стали достоянием всего общества, факторами общежития. Следовательно, политический и экономический порядок известного времени можно признать показателями умственной и нравственной жизни данного общества» [Ключевский В. О. Соч.: в 9 т. М., 1987. Т. 1. Ч. 1. С. 56].

Ученый разработал методологию истории быта, в которой можно выделить позитивизм, «историко-социологический» метод и историко-социологический синтез, нарративизм и отчасти эмический подход, т. е. использование историком понятий и языка, которыми оперируют люди прошлого [см., напр.: Шкуринов П. С. Позитивизм в России XIX в. М., 1980. С. 312-323; Попов А. Н. Историко-социологический синтез в работах учеников В. О. Ключевского // Социальные науки: история, теория, методология. М., 2000. Вып 1. С. 103-110; Муравьев В. А. М. М. Богословский: выбор проблемы реформ // Археографический ежегодник за 2004 г. М., 2005. С. 175-180; Топычканов А. В. С. К. Богоявленский – историк Московского государства и знаток московской приказной документации // Богоявленский С. К. Московской приказный аппарат и делопроизводство XVI–XVII вв. / Сост., коммент., подгот. А. В. Топычканов. М., 2006. С. 23-28].

Многие ученики В. О. Ключевского по Московскому университету и Московской духовной академии проявили интерес к историко-бытовой тематике. Так, например, М. М. Богословский изучал экономический и социальный быт Русского Севера XVII в., С. К. Богоявленский – юридический быт России XVII в., Ю. В. Готье – экономический быт замосковского края XVII в., А. П. Доброклонский – экономический быт Солотчинского монастыря в XVII в. и т. д. Из учеников В. О. Ключевского только П. Н. Милюков продолжил разработку методологии истории быта, названной им «культурной историей» – «историей без собственных имен, без событий, без сражений и войн, без дипломатических хитростей и мирных трактатов», которая изучает «жизнь народной массы» [Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. СПб., 1896. С. 2].

Возможности ре-актуализации истории быта обусловлены следующими причинами: во-первых, недостаточной разработкой методологии истории «юридического быта» в отечественной исторической науке; во-вторых, возрождением интереса к институциональному подходу при изучении социокультурных практик [Sewell W. H. The Concept(s) of Culture // *Beyond the Cultural Turn. New Directions in the Study of Society and Culture* / Ed. by V. E. Bonnell and L. Hunt. Berkley; Los Angeles; L., 1999. P. 41-43), а также к анализу практик управления при изучении властных институтов. Несмотря на развитие социологических методик, плодотворным представляется и сопоставление истории быта с историей повседневности и микроисторией, возникших в рамках того же исторического проекта социального (о нем см., напр.: Согомонов А. Ю., Уваров П. Ю. Парадоксы вывихнутого времени, или Как возникло социальное // *Конструирование социального. Европа. V–XVI вв. М., 2001. С. 135-159*].

Т. Н. Иванова (Чувашский ГУ)

«Образ истории» в лекционных курсах В. И. Герье

В XIX в. специального университетского курса методологии истории не было. Однако известен близкий по проблематике курс московского профессора В. И. Герье (1837–1919), опубликованный в 1865 г. как «Очерки развития исторической науки». Он является источником для изучения концепции Герье-ученого, но также он позволяет понять, как Герье-профессор «школил» своих учеников, применяя «воспитание историей». На основании «Очерков» и еще пяти литографированных курсов по новой истории 1869, 1877, 1892, 1886, 1902 гг. воссоздадим тот образ истории, который представал перед сидящими на студенческих скамьях Н. И. Кареевым, П. Г. Виноградовым, М. С. Корелиным и многими другими будущими учеными.

Методологической проблемой, с которой Герье начинал лекции, было определение специфики исторического знания. «История есть наука и имеет своей целью изыскание объективной истины» – рефреном проходит во всех лекционных курсах. Отличие истории от других наук в том, что не факты составляют её сущность, а факты и познание, связанные и освещенные идеей. История не ограничивается интересами ума, а «притягивает к участию чувство и воображение». Она не только «наука отвлеченная, теоретическая», но и «поучающая». Если к её урокам относятся равнодушно, «история становится учительницей человека даже против его воли». Поэтому её задача не в том, «чтобы обсуждать исторические факты, но чтобы понять их, и всякий понимающий историю, поймет лучше и настоящее положение общества».

Цель истории – изучение судеб всего человечества. Ее научный и философский элемент раскрывается на почве всемирно-исторического процесса: «Всеобщая история есть процесс, переживаемый всем человечеством, мы ищем в ней ответа на вопросы о цели и назначении всего человечества, как единого целого, мы стремимся угадать законы, по которым развивался этот процесс, а исследование законов требует изучения всего процесса во всей его совокупности». Процесс исторического познания субъективен. Историк не имеет перед собой фактов, которые изучает, а основывается на субъективных показаниях свидетелей этих фактов и обработке этих свидетельств в письменных памятниках. Герье сравнивал историю с погасшим вулканом. По остаткам застывшей лавы историку «приходится изучать явления, которые когда-то были следствием сильных страстей и интересов». Достижение объективного знания прошлого затруднено, ибо «образ прошедшего ... два раза преломляется, во-первых, в свидетельствах, в которых сохранилась память о нем, а во-вторых, в личности историка, который по этим свидетельствам воссоздает прошедшее». Очищение «образа прошедшего» от всего, что заслоняет истину, тем не менее, возможно при использовании научных методов.

Первым долгом историка должна быть критика исторических свидетельств: «историк должен забыть о себе перед историческим фактом, и, прежде всего, восстановить его значение не по отношению к себе и своим современникам, а по отношению к самому факту и к среде, которая его породила». Надо вникать в смысл происшедшего, понимать те произведения, в которых отразился дух исторических народов.

Во-вторых, историк должен использовать сравнительный метод, ибо «история представляет нам известные формы и явления, которые встречаются более или менее у всех народов при данных условиях и в известной последовательности». Установление причинно-следственных связей и генезиса явлений приближают к истине, ибо «исторические события находятся между собой в непрерывной связи», и «в духовном мире господствует ненарушимая законность и общее единство».

Особое значение для верного научного метода имеет историографический анализ, ведь в истории стремление к истине имеет такое же значение, как и сама истина и «заблуждение столько же поучительно для науки, сколько и верный результат». Только тот верно определит свою цель в науке, кому известны различные пути, методы, цели и задачи, которые ставились предшественниками. Необходимо использовать методы близких к истории наук: филологии, психологии, юридических и политических наук и, особенно, философии. Критикуя позитивизм, Герье не отрицал возможности использования такого метода, как «статистический закон», но считал, что он «не сила, а только иллюстрация диагноза известного состояния общества».

Кирпичиками исторического знания являются факты, которые Герье делил на «случайные», составляющие внешнюю сторону истории, и «факты-процессы», обусловленные внутренним ходом развития. Это идеи, которые подчиняют и направляют случайные факты. Историк должен сначала проанализировать факты, а затем синтезировать их, чтобы «создать из них целое». Герье не отрицал возможности существования исторических законов, но считал их не тождественными естественнонаучным: «В истории человечества мы никогда не будем в состоянии изучать так называемые исторические законы иначе как в конкретных явлениях истории». Эти законы – скорее закономерности, которые определяются принципом преемственности, причинности и длительного генезиса явлений. Закономерным Герье считал и исторический прогресс, двигатель которого – «проявления духовной жизни» от изобретения алфавита до великих научных открытий. Идеи способствуют развитию цивилизации или задерживают его, а воздействие материальных условий может корректироваться сознательными и целесообразными действиями людей.

Герье наставлял студентов, что главное – не зубрежка дат. Даже границы между эпохами нельзя определить точно, ибо предшествующие и последующие периоды составляют одно целое. Свои лекции он называл «Прописями», указывающими перспективу для самостоятельной работы студентов. Историк должен работать не только над историческим материалом, но и над самим собой, ибо «только многосторонняя и чуткая ко всем потребностям человечества натура способна понять историю с ее разнообразными целями, и только глубоко нравственная и художественно развитая личность достойна истолковывать и объяснять величественные образы прошедшего». Эти наставления сегодня не менее актуальны, чем во времена Герье.

М. Ф. Румянцева (РГГУ, Москва)

**Русская версия неокантианства:
соотношение эпистемологии и этики в историческом познании**

Проблема этической составляющей исторического познания обостряется по мере осознания нетождественности исторического нарратива исторической реальности и предельно актуализируется в современной социокультурной и теретико-познавательной ситуации. Выделим несколько уровней осознаваемой ответственности историка за результат своего труда, позиционируемый в социуме. С одной стороны, эти уровни соответствуют разным представлениям историка о целеполагании и смысле исторического познания, а с другой, определяют различный вес этической составляющей его творчества.

Оставим вне поля рассмотрения «рефлексивно-прагматическую» (Г-В-Ф. Гегель) историографию XVIII в. в духе Болингброка и Мабли.

Если задача историка – сообщать обществу проверенные факты в качестве нравоучительных примеров, то кроме обеспечения их достоверности, он в определенной мере занимается их отбором и тем самым реализует свою этическую установку.

Следующий уровень связан с созданием метанарративов преимущественно национально-государственного уровня (XIX век и не только). Пока историк убежден, что он изучает историческое прошлое с целью описать его как можно более точно и подробно («как было на самом деле»), добыть «чистое знание» (Н. И. Кареев), то здесь проблема этики, по сути, сводится к добросовестности ученого с тем, чтобы полученное знание было действительно «достоверным», «чистым» и т.п., а этическая ответственность за использование этого «чистого» знания перекладывается на совесть социума. «Задача истории не в том, чтобы открывать какие-либо законы... или давать практические наставления..., – пишет Н. И. Кареев, – а в том, чтобы изучать конкретное прошлое без какого бы то ни было попользования предсказывать будущее... Если данными и выводами истории воспользуются социолог, политик, публицист, тем лучше, но основной мотив интереса к прошлому в истории, понимаемой исключительно в качестве чистой науки, имеет совершенно самостоятельный характер...» [Кареев Н. И. Историки: (Теория исторического знания). Пг., 1916. С. 29]. Хочу еще раз подчеркнуть, что пока историк пребывает в заблуждении/уверенности, что он описывает и только описывает «реальную» действительность прошлого, то от него нельзя ни ожидать, ни требовать какой-либо социальной ответственности, кроме профессиональной добросовестности.

И, наконец, третий уровень – «история целиком вступает в свой историографический возраст» (П. Нора). Исследователь осознает (по крайней мере, теперь это неотъемлемая часть его профессионализма), что именно он «творит историю», создает нарратив, предлагает социуму историческое знание. Конечно, он не произволен в своих построениях. Он продуцирует не фантазии, а «фантасмы». И. И. Лапшин, предложивший и обосновавший это понятие, определяет его следующим образом: «*Научные фантасмы* таковы, что они в сознании ученого хотя и не соответствуют вполне по своему содержанию действительности, но в гипотетической форме и в самых грубых и приблизительных чертах верно схватывают известные объективные отношения между явлениями... в процессе *образования* научных фантасмов играет роль не только фантазия изобретателя, но и объективные данные...» [Лапшин И. И. Философия изобретения и изобретение в философии: Введение в историю философии. М., 1999. С. 103-105]. И. И. Лапшин, отмечая огромную роль фантасмов именно в социологии и истории, выступал против «..вольной, т. е. умышленной или неумышленной, подмены *объективно* значимого научного *фантасма субъективной*

фантазией ученого» и поэтому подмечал не произвольность фантазии ученого, но ее зависимость от «объективных» данных, но мы подчеркнем иное – активность познающего субъекта, творческий характер его труда и то, что результат этого труда имеет характер «фантасма», а не воспроизведения «подлинной реальности». Итак, историк по-прежнему «связан» нормами своего «ремесла», но теперь неотъемлемой частью ремесла становится умение эксплицировать смыслы (в том числе и неочевидные) своей профессиональной деятельности, а также понимание социальной ответственности за позиционируемый в социуме продукт собственной интеллектуальной активности.

Самая тесная связь эпистемологии и этики обнаруживается в русской версии неокантианства, где принцип «признания чужой одушевленности» выступает и как эпистемологический, и как этический. И хотя понятие «русское неокантианство» весьма расплывчато, но именно принцип «признания чужой одушевленности» имманентно присущ разным философским (как этическим, так и эпистемологическим) построениям. А. И. Введенский в трактате «О пределах и признаках одушевления: Новый психофизиологический закон в связи с вопросом о возможности метафизики» (СПб., 1892) обосновывает утверждение, что в теоретико-познавательном плане концепт «признания чужой одушевленности» выступает как регулятивный принцип. Одновременно А. И. Введенский, исследуя кантовскую этику, формулирует четвертый постулат практического разума – убеждение в существовании «чужих Я».

А. С. Лаппо-Данилевский также рассматривает принцип «признания чужой одушевленности» не только как регулятивный в сфере познания, но и «в качестве нравственного постулата, без которого нельзя представить себе “другого” как самоцель, в отношении к которой наше поведение и должно получить нравственный характер» [Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. СПб., 1913. Вып. 2. С. 307]. Другие известные неокантианцы, специально занимавшиеся проблемами исторического познания – И. И. Лапшин и В. М. Хвостов, больше внимания уделяли эпистемологическому исследованию проблемы, но и их рассуждения не лишены этической составляющей.

Для современного социума принцип «признания чужой одушевленности», разработанный в русской версии неокантианства дает надежную основу для толерантности как в отношениях между индивидуумами, так и социумами, а также может быть инкорпорирован в методологическую основу создания новой глобальной истории, преодолевающей на иных, нежели цивилизационные, основаниях ограниченность традиционных метанарративов национально-государственного уровня.

Об экзистенциальном подходе к истории Г. П. Федотова

В биографии Г. П. Федотова (1886–1951) переломным фактом стало превращение его из пламенного революционера, неоднократно подвергавшегося арестам и заключению и стоявшего на грани превращения в профессионального борца за свободу народа, в исследователя прошлого, историка. Понять причины такого превращения можно лишь обратившись к источникам личного происхождения, среди которых ведущее место принадлежит его письмам к Татьяне Юлиановне Дмитриевой. Именно любовь к Т. Ю. Дмитриевой подтолкнула его сначала на путь активной революционной деятельности, а потом стала причиной отхода от нее и обращения в историка. Развитие этого чувства привело к ощущению узости сложившегося еще в ранней юности под влиянием знакомства с произведениями радикальных демократов нигилистического мировосприятия, подпитывавшего его революционные устремления. Осознание необходимости преодолеть его сдерживающие развитие личности рамки знаменовало кризис идентичности, воспринятый самим Г. П. Федотовым как метафорическая смерть. Но духовная смерть стала прологом душевного возрождения на совершенно иных путях, далеких от революционных схваток, которыми были обозначены начальные вехи двадцатого столетия.

Любовь Жоржа, как подписывал он свои письма к Татьяне, прошла достаточно типичные этапы: от первой романтической влюбленности с характерным для нее «тайным обожанием» через стремление слиться, раствориться в возлюбленной к осознанию невозможности этого без потери собственного «я». Правда, за этим типическим проглядывало и индивидуальное, которое проявлялось в углубленных и постоянных размышлениях по этому поводу, зафиксированных в его письмах. Он очень скоро пришел к удивившему его выводу о противоречивости характера Татьяны, но любовь вела его к приятию ее такой, какая она есть. Вглядываясь в душу Татьяны, как в зеркало, Жорж незаметно для себя открыл противоборство «язычника и аскета» в своей собственной душе, да и сама их любовь, как взаимоотношения, представлялась ему стремлением к единству антиподов. Влияние любви к Татьяне заключалось в осознании антиномичности явлений жизни, а средством, ведущим к утверждению их единства, становилась в конечном итоге любовь. Поскольку в жизненных коллизиях Тани Жорж заметил в первую очередь страдание, постольку этой же эмоцией окрасилось его чувство к ней, став, по его собственному определению, «состраданием». Его *со-*страдание служило средством для понимания не только ее духовного (мира идей), но и ее душевного мира (чувств), который не всегда выражался словами, а иногда даже противоречил им. Так универсально-рациональное в человеке, в чем обычно видят сущ-

ность человеческого, теряло это свое качество и становилось для него препятствием для понимания человеческой души (ср. с более поздним осмыслением этого: Федотов Г. П. Эссе homo (о некоторых гонимых «измах») // Федотов Г. П. Собр. соч. Т. 2. М., 1998. С. 256). В одном из писем к Татьяне из Германии он заметил по этому поводу: «Я думаю, ты согласишься со мной, если я скажу: наши отношения не были так просты, чтобы мы могли все договаривать до конца. Мы оба чувствовали, что оставалось недосказанным. <...> Когда мы были вместе, я мог читать по глазам твоим. Я недогадлив, вообще, а человеческие отношения для меня дремучий лес. Но тут совсем другое дело, Таня. *Когда любишь, тогда понимаешь все* (курсив мой. – А.А.). У меня было такое чувство, что каждое твоё движение или жест происходят где-то внутри меня, и я ощущал их так, как свои собственные. И мысли так же» [Письма Г. П. Федотова к Т. Ю. Дмитриевой // НИОР РГБ, ф. 475, к. 4, ед. хр. 14, л. 30 об.–31]. Такое понимание стало способом познания любимой, на основе которого позже оформился оригинальный метод исторического исследования Г. П. Федотова.

В своем теоретико-методологическом эссе студенческой поры он отмечал, что такой метод должен преодолеть односторонность субъективистского и объективистского взглядов на историю. Отмечая важность учета эстетических принципов представления исторической реальности для преодоления ее противоречивости, он в то же время отдавал себе отчет в том, что, с одной стороны, в сфере эстетики непримиримые противоречия «примиряются», и тем самым история лишается смысла, а с другой – ее средствами ценности создаются, тогда как задача историка – их изучение посредством понимания. Возможность понимания противоположных систем ценностей дает только «иммориализм», который означает «равную восприимчивость к добру и злу, смесь возвышенности и порочности, где влечения – в диком злорадстве – сменяют друг друга» [НИОР РГБ, ф. 745, к. 4, ед. хр. 33, л. 11].

Знакомство со всем комплексом писем позволяет утверждать, что Г. П. Федотов, указывая на невозможность для исторической науки «обойтись без помощи сумасшедших и преступников», имел в виду, прежде всего, себя. Таким образом, положение маргинала, определяемое с точки зрения «здорового смысла» и общепринятой морали, в сочетании с «довольно крепкой логической способностью», создавало возможность превращения Г. П. Федотова в «культурного историка» нового типа, способного сделать хаос противоположных ценностей культуры научным объектом и представить его в образах, которые не утратят значение реальности. Или, говоря его собственными словами: «В этой страсти и холодной красоте логической мысли он найдет, б[ыть] м[ожет], примиряющее начало своей разнузданной, смятенной души, и произведенные ею труды дадут читателю не только чувство дионисийской оргии жизни, но и ее аполлонического преодоления в научном сознании» (Там же. л. 12 об.).

Советская историография как культурно–историческое явление

Представление о советской историографии как о своеобразном научном феномене вошло в конце XX в. в общественное сознание, а изучение достигло высокой степени интенсивности, отражая потребность ученого сообщества в понимании своего недавнего прошлого. Иначе говоря, изучение советского исторического знания выступает формой научной рефлексии, осознанием отечественной наукой в лице ее современных представителей своих ближайших предпосылок, а для ученых старшего и среднего поколений еще и опытом личного самоопределения, отношением к собственным трудам, творческой (либо ее имитировавшей) деятельности и по большому счету – к своему советскому бытию.

Нет сомнений, внесение рефлексии необычайно обогащает историографический процесс, проясняет глубинный смысл его как деятельности, в которой историческая наука приходит к самосознанию. Одновременно крутая переоценка ценностей, обусловленная упразднением советской системы, придает этой рефлексии гиперкритический и во многом односторонний характер. Возобладало представление, что советская историческая наука являлась, и это главная ее особенность, частью структуры Власти как «гармонично вписанный в систему тоталитарного государства и приспособленный к обслуживанию его идейно-политических потребностей» компонент (Ю. Н. Афанасьев).

Толкование советской историографии как «научно-политического феномена» имеет серьезные основания, в т. ч. в самопрезентации ее представителей как «бойцов идеологического фронта», «солдат партии», людей на государственной службе. Подход «от политики» позволяет прочувствовать драму советской историографии как «репрессированной науки» и одновременно части репрессивной системы. Невозможно оспаривать крайнюю и притом навязанную Властью в лице правящей партии идеологизацию советской науки.

Однако раскрытие научно-политической амбивалентности само по себе требует обращения к категориям более высокого уровня обобщения. И в этом отношении заслуживает внимания сдвиг к толкованию советской историографии «от культуры», к анализу ее как «особого культурно-исторического явления» (В. П. Корзун). Наука предстает частью специфической культурной традиции. Наиболее перспективным для историографического исследования оказывается соотнесение «национальной по форме, социалистической по содержанию», во-первых с культурным наследием страны как особого этапа бытования и эволюции, а, с другой – толкование ее в ряду общецивилизационных форм Нового времени, являвших разрыв исторической преемственности и внедрение культурных моделей сверху, художественной, литературной,

научной элитой. Главной для советской исторической науки, в глазах Власти, была именно воспитательная функция, формирование нового человека. И в этом предназначении можно увидеть прямое сходство с цивилизаторскими установками эпохи Просвещения.

Следующим шагом должно стать, очевидно, соотнесение культуры советского периода с феноменами большой религиозной традиции, а именно с вероучениями. Такое методологическое продвижение обосновывается прежде всего существованием канона как совокупности идейных и поведенческих установок, нормативных для адептов. Канонизированность советской историографии и советской культуры в целом есть то, что отличает данное явление от отмеченных прецедентов цивилизационной инновации, где не было ни подобной унифицированности, ни тем более репрессивной нормативности, и заметно сближает с феноменом государственной религии.

Культурно-исторический подход предполагает определенную методологию. Историческое знание представимо целостным текстом соответствующей эпохи, в котором передается духовное содержание соответствующей. Отправным пунктом постижения этого текста является усвоение языка советской духовности. Термины, символы, образы могут рассматриваться как культурные идиомы, присущие данной традиции и открывающие исследователю ее уникальность. Задачей становится определение ключевых идиом. В советской традиции по общему правилу это идеологемы партийного учения. Их выдвигание, формулирование (и переформулирование), сложение в канон историописания и последующая эрозия нормативности последнего образуют сюжетную линию, которая и должна стать объектом анализа.

Установки культурно-исторического анализа требуют притом выявления субъектности анализируемого явления, превращения анализа в диалог культур. Реален ли диалог с теми историческими субъектами, которые в принципе исключают для себя признание правоты чего-либо стороннего собственной традиции? Да, тем большее значение приобретает, однако, разработка авторской позиции по затронутым вопросам, имплицитное очерчивание параллельного текста, релевантного построениям того, который становится объектом изучения. Представляющий системный комментарий подобный паратекст отнюдь не предназначен служить опровержением. Исследователь исходит из презумпции истинности того текста, что является предметом анализа, поскольку под истинностью подразумевается оригинальность и идентичность изучаемого текста как адекватного выражения соответствующей культурной традиции. Таким образом, воссоздание изучаемого текста в его полноте и аутентичности и интеграция в более сложную эпистемологическую структуру, обогащенную критической рефлексией, историческим опытом и новыми методологическими подходами, оказываются двумя сторонами одной исследовательской установки.

Если субъектность – неперенное условие культурно-исторического анализа, то личностность – важнейшая форма ее проявления. Сколь бы ни был тяжел, а временами сокрушитель идеологический пресс, именно в личностной сфере, в микросоциуме человеческого духа находились последние редуты творчества, которые, в конечном счете, оказались непреодолимыми для административно-политического давления. Именно на индивидуальном уровне происходил прорыв за пределы историографического канона, когда внешние обстоятельства хотя бы в малейшей степени это допускали. Характеристика людей советской науки, включаясь в историографическую канву, становится таким образом необходимостью в воссоздании полноты изучаемого явления.

В. П. Корзун, Д. М. Колеватов (Омский ГУ)

**К вопросу об историографической контекстуальности
(научное сообщество и «Русская историография» Н. Л. Рубинштейна
в первое послевоенное десятилетие)***

В современной исследовательской практике прочно утвердилась мысль об контекстуальности как атрибутивном признаке исторического исследования. При этом обращается внимание на особую значимость социокультурных факторов научного развития, выступающих «сущностными детерминантами научного мышления. Они не присоединяются к собственно научным его детерминантам, а «сплавляются» с последними в неразрывную деятельность» [Границы науки: о возможности альтернативных моделей познания. М., 1991. С. 11].

«Точкой интенсивности» в плане выявления текстуальных и контекстуальных потенциалов науки в определенный период развития выступают вершинные ее достижения. В одних исторических ситуациях они могут выступать в роли «прецедентных текстов» эпохи, составляющих в совокупности социальный запас знания и являющихся основанием группового единства (это относится и к такой социальной группе, как научное сообщество). С изменением исторической ситуации указанные тексты могут перемещаться из поля прецедентности в поле инкриминации. В обоих случаях функции экспертной оценки выполняются не только представителями власти, но и членами научного сообщества. Попытаться прояснить социокультурный и эпистемологический контекст таких трансформаций возможно в междисциплинарном ракурсе.

Попытаемся очертить контуры такого ракурса, обратившись к феномену «перепрочтения» книги Н. Л. Рубинштейна «Русская историография», вышедшей почти одновременно с трудами М. Н. Тихомирова

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФНФ», проект 07-01-00301а.

по отечественному источниковедению и О. Л. Вайнштейна по западно-европейской историографии, которые заполняли пробел в учебных пособиях для вузов, вписывались в общеевропейский процесс «переоткрытия исторического» и в процесс становления и профессионализации советской исторической науки. Социальный контекст 1930-х – первой половины 1940-х гг. создавал для указанных трудов режим значительного благоприятствования. Наличествовало уникальное сочетание жесткой социальности сталинской эпохи и высокой научности. Работа Рубинштейна, обсуждавшаяся и рецензировавшаяся в начале 1940-х гг., оценивалась в соответствии с формулой «наличие несомненных достоинств при некоторых недостатках». Книга выполняла важный социальный заказ – создание обобщающего труда по отечественной историографии с последовательно марксистских позиций. В более широком социально-контекстуальном плане этот классический труд объективно способствовал складыванию коллективной идентичности научного сообщества историков – «мы-группы» в советском варианте. Развитие исторической науки представлялось частью общего процесса отечественного развития и мировой историографии. В то же время в соответствии с советской традицией, вершинными достижениями указанных процессов, их принципиально-содержательным завершением предстают советское общество и труды классиков марксизма-ленинизма.

В первые послевоенные годы труд Рубинштейна попадает в эпицентр «космополитических» компаний и предается осуждению. Бросается в глаза изменение оценки книги одними и теми же участниками историографических диалогов до и после войны. Как интерпретировать эти метаморфозы? Можно ли свести все к тоталитарной модели исторической науки, навязанной сообществу историков властью, и тем самым представить его (сообщество) монолитным, абсолютно зависимым и несамостоятельным? Более продуктивными представляются подходы «новой социальной истории», проблематизирующие внутреннюю социальность малых групп, а также некоторые наработки из области социологии науки (П. Бурдьё). Официально транслируемый образ науки коррелирует с имманентными факторами развития исторического сообщества. В интересующей нас ситуации выявляются разные поведенческие стратегии деятелей науки, разные ролевые функции: фигура официального историка, обладающая институциональным капиталом, фигура историка-пропагандиста и фигура историка-интерпретатора марксистского проекта и партийно-государственной линии. Но их «перепрочтение» «Русской историографии» разворачивается уже в ином социокультурном контексте, характеристиками которого являются изменения в концепции советского патриотизма, произошедшие в годы войны («героический нарратив»), канонизация классического наследия, усиление контроля и репрессий по отношению к представителям научного сообщества. В обстановке начавшейся холодной войны эти факто-

ры обусловили тенденцию к изоляционизму в трактовке истории отечественной науки. Контекстуальный нарратив безусловно содержателен в плане определения итоговых рамок развития науки, однако он не дает понимания того, как научные и контекстуальные детерминанты «сплавляются» в единую деятельность. В этом плане нельзя преуменьшать когнитивную значимость «проговорок», свидетельств непонимания «оттянувшим на себя культуру» новым интеллигентом советской (и любой другой) эпохи иного, более высокого уровня культурного бытия.

Трактовка Рубинштейном истории исторической науки XVIII века встречает наибольшее сопротивление. В этот век оформилась норманнская теория, становление новой, рационалистической модели историознания связано было с использованием опыта западноевропейской науки и деятельностью иностранных, преимущественно немецких ученых. На беду для Рубинштейна в первое послевоенное десятилетие норманнская теория становится объектом репрессивно-ограничительных манипуляций власти, не вписывается в патриотически настроенное массовое историческое сознание. В новой ситуации происходит селективный отбор историков, нарушающий принцип единства историографического процесса. Историки XVIII века делятся на своих и чужих, русских и немцев. Последним инкриминируется приверженность к норманнской теории и отводится роль, в лучшем случае, неплохих техников науки (Г. Ф. Миллер). В этом их отличие от русских по происхождению историков, «поднимавшихся до попыток исторического синтеза», «стремившихся написать историю России в целом виде» (Татищев, Ломоносов, Щербатов). Российская (а в особенности советская) историческая наука оценивается теперь, как уникально вершинная.

Таким образом, «Русская историография» Рубинштейна, основанная на принципе единства историографического процесса, в изменившихся социокультурных условиях, воспринимается как «не совсем русская» и попадает в поле инкриминации.

Н. А. Кныш (Омский ГУ)

Официальный образ советской науки периода позднего сталинизма[†]

В период «холодной войны», когда наука выступала в качестве инструмента идеологической борьбы двух сверхдержав, наблюдается стремление научно-партийного руководства дать четкое определение отличий советской науки от науки западных стран. Документы директивных партийных органов – Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК ВКП(б), публикации газеты Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) «Культура и жизнь» и теоретического и политического журнала ЦК ВКП(б) «Большевик», определяя направление движения научно-

[†] Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 07-01-00301а).

исследовательской мысли в СССР и задачи советских ученых, тем самым, отражали / фиксировали образ советской науки и ее служителя – ученого. Анализ этих материалов позволяет говорить о некоей модели презентации советской науки и советского ученого в послевоенном социокультурном и общественно-политическом пространстве. Мы попытались реконструировать и прописать черты транслируемого в массовое сознание образа так называемой сталинской науки.

Сталинская наука – наука партийная, плановая, нацеленная на практику, коллективная, народная, с материалистической основой. Советский «передовой» ученый выступал как исследователь, преподаватель, воспитатель и пропагандист-агитатор, которому предписывалось сочетать деятельность научную с общественно-политической. Партийность советской науки заключалась в том, что она развивалась по направлениям, указанным «как самые насущные» партией во главе с ее «великим вождем И. В. Сталиным». Решения ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам призваны были «еще выше» поднимать «боевой партийный дух советской науки».

Организация работы ученых коллективов и координация их научной деятельности по единому плану характеризовали советскую науку как плановую. Направление и объем научно-исследовательской работы задавались «в основном государственным пятилетним планом», но «в соединении с внутренними потребностями развития науки» [Вавилов С. Советская наука // Большевик. 1946. № 20. С. 35]. С планированием тесно связана другая отличительная черта советской науки – практицизм, возможность применения достижений науки на практике. Советский ученый не изучал науку ради науки (она не являлась самоценностью), тематика исследований должна была отвечать насущным задачам, стоящим перед страной по плану пятилетки. «Подлинно народной» советская наука была по своей направленности на «служение народу» и по составу кадров: она «вышла из «храмов» академий и университетов на заводы и в деревню, перестала быть привилегией дворянства, буржуазии», в силу того, что «большинство советских ученых – это выходцы из рабочих и крестьян» [Там же. С. 28].

Советская наука не могла быть наукой ученых-одиночек. Это была наука больших институтов и лабораторий, объединяющих ученых старшего и младшего поколений, представителей разных специальностей и руководимых наиболее авторитетными деятелями науки.

Материализм, материалистическая основа советской науки, как ее «коренная особенность», обеспечивала «полную ясность» в отношении философского мировоззрения, составляющего «необходимый фундамент» всех научных исследований.

В зависимости от области науки отмеченные черты приобретали специфическое наполнение и, обрстая конкретными примерами, трактовались с учетом изменений в политике партии и правительства. Подчеркнем, что сами выделяемые черты советской науки в течение рас-

сма­три­вае­мо­го пе­ри­о­да, не­смот­ря на из­ме­не­ние иде­оло­гичес­ко­го кли­ма­та, оста­ва­лись неиз­мен­ны­ми. Вслед­ствие из­ме­не­ния ат­мо­сфе­ры бы­то­ва­ния со­вет­ской на­уки, ме­ня­лась «эмо­ци­о­наль­ная ок­рас­ка» ее ха­рак­те­ри­стик, что, ко­неч­но же, не мо­гло не ока­зать влия­ния на вы­бор де­мон­стри­ру­юще­го их ма­те­ри­а­ла. Если в на­ча­ле про­го­ва­ри­ва­лись «осо­бен­но­сти» со­вет­ской на­уки, то за­тем они уже трак­ту­ют­ся как «глубо­кое от­ли­чие» от на­уки ка­пи­та­ли­стичес­ко­го об­щес­тва, а да­лее как «вели­чай­шие пре­иму­щес­тва» и «си­ла» со­вет­ской на­уки. Под­чер­ки­ва­лось яв­ное про­ти­во­пос­та­в­ле­ние со­вет­ской и за­пад­ной на­уки. И это не слу­чай­но, по­сколь­ку, ко­гда в по­сле­во­ен­ных ре­а­ли­ях транс­фор­ми­ро­ва­лась кон­цеп­ция со­ре­в­но­ва­ния «двух си­стем» в кон­цеп­цию бор­ьбы «двух ла­герь­ей», воз­гла­вляе­мых со­от­вет­ствен­но Со­вет­ским Со­ю­зом и Со­еди­нен­ны­ми Штата­ми Аме­ри­ки, на­ука ока­зы­ва­ла су­щес­твен­ное влия­ние на пре­стиж го­су­дар­ства и под­кре­п­ля­ла его дер­жав­ные ам­би­ции.

Имен­но в ра­мках обо­зна­чен­ных черт про­хо­ди­ла и транс­ля­ция «нуж­но­го» со­вет­ской вла­сти обра­за на­уки в об­щес­тво. Одним «из важ­ней­ших» ка­на­лов транс­ля­ции цен­но­стей, в т.ч. и иде­оло­гичес­ких, был худо­же­ствен­ный ки­не­ма­то­граф, от­ве­ча­ю­щий стрем­ле­нию вла­сти укор­е­нить­ся в ма­ссах не по «холод­ной» иде­оло­гичес­кой ли­нии, а по «теп­лой» ли­нии эмо­ци­о­наль­но­сти, тра­ди­цион­но­сти и ми­фо­ло­гичес­ко­сти. В ре­пер­ту­ар­ных афи­шах со­вет­ско­го ки­но в этот пе­ри­од не­обы­чай­но боль­ше­го ме­ста за­ня­ли ис­то­ри­ко-био­гра­фичес­кие филь­мы об уче­ных: «Мик­лу­хо-Мак­лай», «Пи­ро­гов», «Ми­чу­рин», «Ака­де­мик Иван Пав­лов», «Алек­сан­др По­пов», «Жу­ков­ский», «Пр­же­валь­ский», «Суд че­сти». Воп­ло­щае­мая на эк­ране ис­то­ри­ческая фи­гу­ра, на­пол­ня­лась со­дер­жа­нием, от­ве­ча­ю­щим тре­бо­ва­ни­ям по­ли­ти­ческой си­ту­а­ции, ил­лю­стри­ру­я важ­ные в све­те ак­ту­аль­ной про­бле­ма­ти­ки ис­то­ри­ческие со­бы­тия. Филь­мы иде­оло­гичес­ки от­ве­ча­ли пред­ъявляе­мым тре­бо­ва­ни­ям: по­ка­зать и до­ка­зать, что рус­ская на­ука – са­мая пе­редо­вая в ми­ре, и со­вет­ская вла­сть, как ни­ка­кая дру­гая, ока­зы­ва­ет ей ма­кси­маль­ную по­мощь и под­дер­жку. Под­чер­ки­ва­лась со­ци­аль­ная зна­чи­мость дея­тель­но­сти уче­но­го-ма­те­ри­а­ли­ста: она не­об­хо­ди­ма, без нее не­осу­щес­т­ви­ма идея про­грес­са. При все­й от­вле­чен­но­сти про­фес­си­о­наль­ных ин­те­ресов уче­но­го, он все же не­раз­рыв­но свя­зан с ок­ру­жа­ю­щей его дей­стви­тель­но­стью, с ее по­тре­б­но­стя­ми и вы­зо­ва­ми. Имен­но слу­же­ние на­ро­ду, а не воз­вы­ше­ние над ним в ка­чес­т­ве «ин­тел­лек­ту­аль­ной эли­ты» считалось воп­ло­ще­нием ис­то­ри­ческой ми­с­сии со­вет­ских уче­ных.

Та­ким обра­зом, в си­ту­а­ции про­ти­во­сто­я­щих друг дру­гу на­ук – со­вет­ской и за­пад­ной, ко­гда под­чер­ки­ва­лись на­ци­о­наль­ные исто­ки со­вет­ской на­уки, ее не­за­ви­симость от За­па­да и при­о­ри­тет во всех на­уч­ных об­лас­тях, чер­ты обра­за со­вет­ской «пе­редо­вой» на­уки – ма­те­ри­а­лизм, пар­тий­ность, прак­ти­цизм, кол­лек­тив­ность, пла­но­вость и на­род­ность – не толь­ко про­пи­сы­ва­лись в «тек­стах», но и про­ри­со­вы­ва­лись с по­мощью ки­но. Со­дер­жа­ние офи­ци­аль­ных до­ку­мен­тов под­кре­п­ля­лось эмо­ци­о­наль­ным воз­дей­ствием худо­же­ствен­ных обра­зов.

Часть VIII. ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ
К 125-летию выхода в свет
«Основных проблем философии истории» Н. И. Кареева

В. П. Золотарев (Сыктывкарский ГУ)

Быстрый труд:
к истории создания Н. И. Кареевым докторского исследования

Чтобы понять основополагающие идеи фундаментальных научных трудов, – а двухтомник Н. И. Кареева «Основные вопросы философии истории» и по объему (836 стр.), и по кругу поставленных и разрешенных в нем теоретико-методологических проблем именно таковым является, – необходимо знать историю их создания. Когда и как возник у автора замысел, как и в полной ли мере ему удалось его воплотить, насколько автор остался удовлетворенным конечным результатом своих изысканий? Именно на эти вопросы я попытаюсь кратко ответить в небольшой публикации, основанной на архивных источниках, хранящихся в ЦИИАМе и Архиве РАН (СПб отд.).

Не без преград 21 марта 1879 г. (даты даются по старому стилю) в Московском университете Кареев защитил диссертацию, представленную в виде монографии «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века» (1879 г.), за которую был удостоен ученой степени магистра всеобщей истории и... «подвергнут почетной» ссылке в отдаленный от обеих столиц Российской империи Варшавский университет. Ступив в конце августа 1879 г. на землю Привислинского края, он спешно и усиленно начал готовить книгу о крестьянах Франции до Великой французской революции, полагая, что две монографии о них с древнейших времен до последней четверти XVIII в. могут составить докторское исследование, если включить в нее еще и исследование проблем тружеников земли XIX века.

Вместе с тем Кареев, быть может, как никто другой, понимал, что хорошо подготовлен предшествующими штудиями к постановке и освещению фундаментальных историко-теоретических проблем на уровне гуманитарного знания того времени. И 6 марта 1882 г. он, отринув первый вариант докторского исследования, берется за реализацию второго. Он пишет из Варшавы М. С. Корелину: «...работать и здорово работать: занимаюсь философией истории, много читаю и много пишу», добавляя «...работа у меня спорится». А в начале сентября 1882 г. Кареев уже в Париже. Он пишет Корелину из Парижа в Москву. В Национальной библиотеке продолжаю «...рыться в книгах, делать выписки...», «я так поглощен своей работой, что мало слежу за здешней жизнью и редко с кем выдаюсь». «Кроме вас и родных, я ни с кем не веду переписки... Я говорю [теперь] о своем сочинении. Страшно оно уже

разрастается: выйдет, я думаю листов 50-60 [п.л.]. Впрочем, для такого предмета немного. “Основные вопросы философии истории (Опыт теории исторического процесса)”, – таково громкое название, под которым, вероятно, появится в свет мое творение».

16 ноября 1882 г. Кареев извещает Корелина: «Национальной библиотекой я воспользовался сколько было нужно и подвинул вперед свою диссертацию, а потому с легким сердцем могу покинуть Париж». И покинул. На его пути – библиотеки Берлина. Кареев обнаружил в них так много нужных ему книг, что для их изучения не хватало дня, и он с любезного разрешения библиотекарей брал с собой увесистые стопки фолиантов в гостиницу, чтобы ночью их изучить. Не без гордости 26 декабря 1882 г. из Берлина Кареев информировал своего московского друга: «Четверть всей книги у меня теперь почти готова к печати, другая четверть может быть приведена в порядок в Берлине, а если в Варшаве удастся много работать, то к середине марта [1883 г.] будет готово всё». Не удалось в Варшаве так много поработать, чтобы подготовить диссертацию к названному сроку: заела привислинская текучка.

27 мая 1883 г., в Варшаве Кареев начертал последние слова своей диссертации – «Обозреть исторические судьбы человечества есть высшая задача, которую могут себе поставить совместными силами философия, психология, социология и историческая наука». Успокоившись, сел за письменный стол и написал Корелину очередное письмо: «Окончил писание диссертации... Заглавие ее вот какое: “Основные вопросы философии истории (Критика историко-философских идей и опыт научной теории исторического процесса)”». В общем я доволен работой: по полноте материала, по разработанности, по единству главной идеи, по соответствию состоянию современной науки, по обстоятельности критики и по систематичности собственной моей теории, не хвастаясь, могу сказать, ни в одной литературе нет ничего соответствующего».

В начале лета 1883 г. Кареев сдал рукопись в московскую типографию А. Н. Мамонтова и К^о, которая располагалась в доме №5 по Леонтьевскому переулку. Она была мало загружена. Наборщики быстро по тому времени превратили рукопись в типографский текст, переплели ее, и два увесистых тома были готовы для представления в Диссертационный совет Московского университета.

Защита Кареевым диссертации была назначена на 24 марта 1884 г. Объявление о защите «Московские ведомости» печатали трижды – 19, 22 и 24 марта. 24 марта Кареев успешно защитил докторскую диссертацию, 30 марта Совет Московского университета утвердил решение факультета о присвоении Н. И. Карееву ученой степени доктора всеобщей истории, а канцелярия ректора выдала ему соответствующий диплом. Кареев написал диссертацию за 19 месяцев (с 6 марта 1882 г. по 16 сентября 1883 г.). Подготовка к защите едва уместилась в 7 месяцев (с 16 сентября 1883 г. по 24 марта 1884 г.). Такова вкратце внешняя история создания Кареевым своего докторского исследования.

**Неопубликованный труд Н. И. Кареева
«По большой дороге истории»: взгляд с рубежа веков**

Одной из примечательных особенностей нашего времени является публикация архивных документов, переиздание «забытых» или некогда запретных книг. Однако многие архивные рукописи все еще ждут своего часа. Одной из них является историко-философское сочинение Н. И. Кареева «По большой дороге истории», написанное, как нам удалось установить, в период приблизительно с начала 1916 г. по конец 1918 г. Оно включает 557 стр., разделенных на 25 глав, и представляет собой обзор всемирной истории от истории древнего мира до современной ученому эпохи. В третьей главе он очень точно подметил характер своего творения: «Объяснение общего хода истории – дело науки, его оценка – задача философии. Остановимся на том и на другом». На самом деле, в одних главах он рассматривает конкретные вопросы истории, в других дает философскую оценку общего хода истории. В этой работе мы видим четкое и последовательное понимание им исторического процесса с цивилизационной точки зрения.

Кареев рассматривает смену цивилизаций как следующие друг за другом периоды: речной, морской и океанический (влияние концепции Л. И. Мечникова и его книги «Цивилизации и великие исторические реки»). Каждому периоду «большой дороги истории» соответствует свой географический участок. В речную эпоху основная дорога пролегла по азиатско-африканской зоне и включала Египетскую, Месопотамскую, Индийскую, Китайскую цивилизации. Греческая, Римская, Арабская цивилизации процветали в морской период, тогда же зародилась и Европейская цивилизация. Все они локализовались в рамках антично-европейского участка. В Океанический период на «большую дорогу истории» выходят цивилизации новоевропейского ареала. Описывая речные и морские цивилизации, Кареев отметил, что, достигнув высоты, они утрачивали силу дальнейшего развития, застыли в традиционной форме и останавливались в росте. То, что было достигнуто определенной цивилизацией в сфере культуры, науки, политики, экономики передавалось последующим цивилизациям, занимавшим их место на большой дороге истории. Наблюдалось воздействие культур друг на друга. Для каждого периода характерна определенная степень взаимовлияния. В первый период оно «слабое», во время второго «начинает вырабатываться общая, синкретическая цивилизация», и только в третьем периоде можно говорить «о всемирном, мировом в истории, так как только сейчас начали переплетаться дела всех частей света».

Н. И. Кареев говорит о цивилизации как о культурной общности людей всего мира и выделяет отдельные цивилизации, которые повлия-

ли на развитие мировой, основной дороги истории. Он уподобляет «большую дорогу истории» не одной «величественно текущей реке, а большому множеству ручьев и речек, текущих параллельно, сливающихся в реки больших размеров... И эти большие реки неодинаково длинны, широки, глубоки и быстры, но все-таки среди них выделяется одна опережающая все остальные».

Большая дорога не была величиной постоянной - с каждым веком она или расширялась, охватывая новые цивилизации, или сужалась, когда одна из цивилизаций не была в состоянии продолжать далее свой путь. Глубина характеризовала качественный уровень: если река глубока, следовательно, в этот период наметилось прогрессивное развитие, а когда она мельчала, то налицо – регресс, утеря каких-то достижений. Но в общем в истории человечества осуществлялся прогресс. И Кареев задается вопросом: «Какова мерка, определяющая, какие явления исторической эволюции могут быть квалифицированы как прогрессивные?» Первым критерием является понимание действительности: от мифических объяснений к религиозному мирозерцанию, из них складывается философское мышление и в особенности научное знание. Вторым критерий – религиозное сознание. Чем больше вносилось человечности, духовности, моральности в религиозные представления, тем религия была более совершенной. Третий критерий – умственное развитие. Оно включает развитие науки и светской философии. Четвертый критерий – экономический прогресс, где Кареев различает три стороны: технические совершенствования, хозяйственные взаимодействия отдельных коллективов и социальные отношения. Третья сторона характеризуется переходом от беззащитной эксплуатации труда народных масс к смягчению неволи и освобождению от нее. Путь прогресса здесь наметился в смысле доставления трудящимся существования, соответствующего человеческому достоинству. Пятый критерий – прогресс в области права, в признании и защите человеческого достоинства. Все люди рождаются свободными и равноправными. Это положение можно применить в гражданском и политическом смысле. Первое требовало отмены рабства, крепостного состояния и сословных привилегий, установления равенства всех перед законом, второе – ограничения власти государства над личностью гражданина, свободы для него в религиозных верованиях, научных исканиях, философском мышлении. Последний критерий – прогресс в политике. Основным здесь он считает положение личности в государстве, ее свободу. Она бывает гражданской (степень независимости личности от власти) и политической (степень участия граждан в этой власти). К этому же относится установление государственного порядка вместо политического хаоса. Идеалом здесь является не централизация, а федерация. Государство же должно служить удовлетворению всенародных потребностей, а не малой ее части.

Доминантой всего исторического прогресса является рост сознательности. То, что совершалось стихийно, характеризовало начало исторического процесса. Все прогрессивное в истории было результатом работы человеческого сознания над старыми формами и над новыми.

После даже такой общей характеристики труда видно, насколько ценным является его содержание, как точно в нем показана и охарактеризована история человечества, как системно подошел Н. И. Кареев к представлению исторического процесса, насколько современно использование цивилизационного подхода в оценке событий.

В. А. Филимонов (Сыктывкарский ГУ)

«Основные вопросы философии истории» и «Сущность исторического процесса и роль личности в истории» Н. И. Кареева в рецензиях отечественных исследователей

Появление книги Н. И. Кареева «Основные вопросы философии истории» (М., 1883. Т. I–II); вызвало большое число откликов в периодической печати. По нашим подсчетам трем изданиям «Основных вопросов...» и продолжавшей их книге «Сущность исторического процесса и роль личности в истории» было посвящено в общей сложности около 30 рецензий – от небольших библиографических заметок до пространных, продолжавшихся в нескольких номерах аналитических статей, вызвавших бурную дискуссию.

В рубрике «Научные письма» газеты «Новое время» книгу Кареева критическому разбору подверг публицист Л. К. Попов (псевд. *Эльпе*). Ответом Кареева стала статья «Кризисы и личная инициатива в исторической эволюции» в «Русских ведомостях». Эльпе продолжил полемику работой «Внезапные перевороты и идея развития», на что Кареев ответил статьей «Два слова об исторической эволюции». Завершили дискуссию опубликованные Эльпе в этом же номере «Примечания к ответу г. Кареева». В «Одесском листке» увидела свет статья профессора философии Новороссийского университета Н. Я. Грота «Еще о субъективизме в социологии», на которую Кареев дал обстоятельный ответ текстом «Социология и социальная этика» в «Юридическом вестнике». На рецензию либерального публициста Л. З. Слонимского «Законы истории и социальный прогресс» Кареев отозвался статьей «Pro domo sua» в «Русской мысли». Отвечая, Слонимский опубликовал заметку «Еще об "Основных вопросах философии истории" г. Кареева». Возражения Кареева нашли свое место в «Маленьком ответе критику». Двумя публикациями «Случайность и необходимость в истории» и «Исторический прогресс» откликнулся в журнале «Дело» публицист и социолог Б. П. Онгирский (псевд. *Б. Ленский*), на что Кареев ответил статьей «О случайности в жизни и в

истории» в этом же журнале. Из откликов на 1-е издание «Основных вопросов...» отметим еще рецензии В. А. Гольцева в «Русской мысли» и Н. К. Михайловского в «Отечественных записках», а также статью профессора русской истории Дерптского университета А. Г. Брикнера «Fortschritt in der Geschichte» в журнале «Nord und Süd». Необходимость защиты своих взглядов заставила Кареева объединить опубликованные возражения и издать их отдельной книгой «Моим критикам» (Варшава, 1884), которая также вызвала ряд откликов, в т. ч. известного общественного деятеля К. К. Арсеньева в «Вестнике Европы».

Второй виток полемики, правда, уже не такой интенсивный, как первый, был связан с выходом в свет 2-го и 3-го изданий «Основных вопросов...». Почти скандальный характер имела рецензия «Историософия г. Кареева» в «Русской мысли», написанная П. Н. Милоковым (под псевд. П. Н. М.), в то время еще начинающим историком, едва только получившим приват-доцентуру в Московском университете. Разбор этого и других откликов Кареев дал в серии статей «Новые ответы критикам» в «Русском богатстве». Позднее Кареев писал: «Из всех критиков моей диссертации он (Милоков – В.Ф.) был единственным специалистом по истории». Почти одновременно увидели свет отзывы (в целом положительные) «Философия истории и прогресс» профессора кафедры географии и этнографии Московского университета Д. Н. Анучина (под псевд. Д-ъ) в «Русских ведомостях» и «В области философии» в газете «Новости» опального профессора-классика В. И. Модестова, только что вернувшегося после долгого перерыва на университетскую кафедру. Самыми поздними откликами на «Основные вопросы...» стала глава «Промысел Божий в истории и науке (Опыт научного построения философии истории в теории исторического прогресса проф. Н. Кареева)» в книге протоиерея П. Я. Светлова «Идея Царства Божия в её значении для христианского мирозерцания», опубликованная в «Богословском вестнике», и книга некоего В. Ф. Трохимовича «Суть ли законы истории? Критика "Основных вопросов философии истории" Н. Кареева».

Еще меньший интерес вызвала книга Н. И. Кареева «Сущность исторического процесса и роль личности в истории», оставшаяся, как писал автор, «почти незамеченной в печати», хотя именно ее он считал своим «наиболее значительным трудом в области теории истории». Рецензии на эту книгу дали: в «Русской мысли» – публицист и социолог П. Ф. Николаев и профессор истории Варшавского университета Н. Н. Любич, а в консервативном «Русском обозрении» историк-византист П. Б. Безобразов.

Анализ откликов на книги Кареева и развернувшейся вокруг них дискуссии, показал, что критические голоса принадлежали, прежде всего, либералам-позитивистам. Приветствуя стремление Кареева к теоретическому обоснованию позитивистской парадигмы, большинство авто-

ров выразили несогласие с попыткой преодоления ее сущностных недостатков. Узловыми вопросами ученого спора стали: кареевская классификация наук и их деление на номологические и феноменологические, различие предмета исторической науки и социологии; соотношение субъекта и объекта («субъективный метод») и необходимость этической оценки в историческом исследовании («законный субъективизм»), формула прогресса и историческая эволюция, законосообразность в истории и существование специфических исторических законов.

Выявление мотивов, хода и результатов полемики позволяют не только расширить понимание теоретико-методологических основ историко-социологической концепции Кареева, но и существенным образом уточнить тенденции развития отечественной исторической науки этого и последующих периодов в целом.

Т. В. Павлова (Сыктывкарский госуниверситет)

**«Рождение шедевра»
(О методологии истории «Парижских секций» Н. И. Кареева)**

В 1910 г. Н. И. Кареев начал изучать один из важнейших и актуальнейших феноменов Великой французской революции 1789–1799 г. – историю Парижских секций, задумав написать о них объемную монографию. Но первая мировая война и русские революции 1917 г. помешали полностью воплотить этот научный проект. Однако тринадцать «этюдов», посвященных различным сторонам истории секций, ученый подготовил и опубликовал. Являясь настоящими исследовательскими «шедеврами», они способны показать «мастерскую» историка.

Разумеется, любая «мастерская» (как и «мастерская» исторического исследования) «не работают» без источника, который часто и определяет то русло, в которое направится историк со своими «инструментами». Увлечение Н. И. Кареева историей Парижских секций «привело» его к столичным архивам, в которых хранились целые тома секционных документов, где «не ступала нога ученого». Интерес Кареева к истории секций был также «подогрет» вниманием в России начала XX в. к местному самоуправлению, в чем французские секции давали оригинальный пример. Это придавало особую актуальность его работе, которая тут же «закипела». Кареев с головой погрузился в изучение протоколов Парижских секций, до него почти не изученных. С «ценным грузом» – выписками из документов – он возвращался из Франции в Россию (в 1910–1911 гг. он совершил три поездки) и писал, писал, писал...

В совершенстве владея французским языком, Н. И. Кареев виртуозно обработал эту информацию. Особенностью его исследований по истории секций было присовокупление к тексту приложений, содержащих протоколы или выписки из них. Сравнивая авторский текст тринна-

дцати «этюдов» по истории Парижских секций и приложения, следует сказать, что объем их почти совпадает: авторский текст – 363 с., источники – 366 с. Главной целью приложений было подкрепить приведенные в основной части выводы, а также продемонстрировать в них то, что не удалось «охватить» взглядом в авторском тексте, создать полную картину событий и заставить вдумчивого читателя размышлять.

Безусловно, историк не может строить «новое здание» в своей «мастерской» без учета того, что было сделано в этом направлении до него, пусть даже это отдельные строки в многотомных трудах. И здесь мы должны отметить еще одну важную особенность «секционных исследований» Кареева – все его работы предваряет историографический обзор по проблеме, сформулированной в названии. Особую важность приобретает именно эта часть его научных трудов, поскольку он стремился к комплексной характеристике изучаемого объекта с тем, чтобы выявить не сделанное его предшественниками. Тем более что историографические обзоры Кареева – это действительно история проблемы: не просто перечисление трудов историков, а их тщательнейший анализ.

Изучая по «кирпичикам» кареевское «здание» исторических исследований по истории Парижских секций, следует обратить внимание на еще одну важную его составляющую – методы исследования исторического объекта. Существует множество различных методов, но современный историк, как и Кареев в начале XX в., использует, прежде всего, методы, основанные на принципах историзма и критицизма. Применяя их, Кареев демонстрирует, как история столичных секций эволюционирует в подвижном историческом контексте: от появления секций в 1790 г. до их исчезновения в 1795 г. с акцентом на определенных ярких моментах их деятельности (10 августа 1792 г., 31 мая–2 июня 1793 г., 9 термидора II года). Кроме того, приступив к анализу исторического объекта, Кареев дает обзор истории Парижских секций, в котором намечает основные направления будущих исследований, что позволяет делать вывод о соблюдении указанного выше принципа. Критический принцип в истории секций реализуется, прежде всего, в анализе источников: историк сравнивает секционные протоколы с полицейскими донесениями того времени.

Все названные элементы его «технологии» нашли отражение в содержании, облаченном в такой язык, который доступен и понятен не только «специалисту эпохи», но и любознательному читателю. Стиль его изложения прост, не изобилует труднодоступными для восприятия терминами. И в то же время он пользуется такими средствами поэтической образности, которые придают изящество и силу его труду. Яркий материал в этом плане дает нам сравнение секций с «лабораториями», в которых «вырабатывалось народное настроение, бывшее куда большей силой, чем общественное мнение».

Завершают его научно-исследовательские работы заключения. Для Кареева характерно стремление не «поставить точку» в изученной проблеме, а наметить контуры будущего исследования. Так, отмечая в 1911 г., что «революционные комитеты были самыми деятельными учреждениями секций», он в 1914 г. посвящает им отдельное исследование.

Сказанное выше свидетельствует о наличии у Кареева особой и в то же время классической для историка начала XX в. «технологии» исторического исследования. Базируясь на трех китах – источник, метод, манера изложения – и учитывая актуальность выбранной темы, Кареев достигал своей цели – на свет появлялись оригинальные исторические исследования – «шедевры», которым, как отмечали современники, были свойственны «осведомленность о трудах современников, неизменная объективность научной критики и широта взгляда, позволяющая верно оценивать место и значение отдельного явления».

Л. М. Аржакова (СПбГУ)

Труды Н. И. Кареева по истории Польши и его «Основные вопросы философии истории»

Годы интенсивной работы Н. И. Кареева над монографией «Основные вопросы философии истории», ее публикация (1883) и защита в качестве докторской диссертации в Московском университете (1884) приходится на время, как выражался сам ученый, «профессорства в Варшаве», которое длилось с конца лета 1879 г. до начала 1885 г. В эти же годы он усиленно занимался историей Польши, по его словам, «во многих отношениях интересной».

Зримый плод его занятий полонистикой – в общей сложности около двадцати работ на польскую историческую тематику. В их числе такие монографии, как «Очерк истории реформационного движения и католической реакции в Польше» (М., 1886), «Исторический очерк польского сейма» (М., 1888), «Падение Польши» в исторической литературе» (СПб., 1888), «Польские реформы XVIII века» (СПб., 1890).

Несмотря на такое тесное переплетение занятий – вопросами философии истории и польскими штудиями – в капитальном философском труде Н. И. Кареева польские мотивы практически отсутствуют. Они возникают разве что в контексте рассуждений об одновременном всплеске разного рода общественной активности в 40-х гг. XVII в. («казацкое движение против Польши» и Богдан Хмельницкий), или в виде ироничного замечания по поводу характерного для «философствующей истории» свойства определять «свою нацию, свой народ, как избранный», что, в частности, утверждал Мицкевич о поляках.

В то же время, несмотря на отсутствие прямых выходов в «Основных вопросах философии истории» на польские сюжеты, взаимосвязи-

симось между позицией Кареева-философа и позицией Кареева-историка (который в свой варшавский период занимался преимущественно вопросами истории Польши) находим многократно.

В ходе изучения польской истории Кареев сосредоточился на углубленной разработке одной из фундаментальных проблем полонистики – на выяснении причин гибели Речи Посполитой, чему посвящена его фундаментальная монография «Падение Польши» в исторической литературе». В итоге, Кареев пришел к выводу, что главной причиной было отсутствие в Польше сильной центральной власти. Обращает на себя внимание, что с этой целью историк не только рассмотрел различные стороны польской жизни XVIII в., но и – не ограничившись указанием на определенные причинно-следственные связи – сделал обобщение более высокого уровня. По сути, он пришел к выводу о неизбежности, закономерности падения государства вследствие «безнарядья», «бессилия законодательной власти и полнейшего расстройтва власти исполнительной» [Кареев Н. И. "Падение Польши" в исторической литературе. СПб., 1888. С. 376, 378]. Н. И. Кареев, конечно, не игнорировал такие факторы, как «утеснение диссидентов католиками» и пр., но придавал им не более чем второстепенное значение.

Как известно, в своем фундаментальном труде по философии истории Кареев развивал идею невозможности выведения законов в области истории. Его позиция: «Пусть историк обобщает: его обобщения могут принести большую пользу и социологу; но пусть он не думает, что составленные им формулы – законы истории, когда они только эмпирические обобщения» [Кареев Н. И. Основные вопросы философии истории. Т. 1. 2-е изд. СПб., 1887. С. 36]. Правда, нельзя сказать, что данный тезис в полной мере отвечал другому заявлению Кареева – о том, что «область истории /.../ как предмет», требует «самого тщательного и разностороннего обсуждения именно с точки зрения теории» [Там же. С. VII]. Кареев оставлял за историей, как наукой феноменологической, лишь эмпирические обобщения, полагая, что она вполне может и должна довольствоваться законами, которые формулируют и исследуют психология и социология (науки номологические). Законы эти, по мнению автора, выводятся на основании собранного историком материала (на основании исследования «изменяющейся во времени совокупности фактов духовной и общественной жизни»). Но, как видим, Кареев-историк, говоря о причинах падения Польши, не ограничил свою задачу обобщением эмпирического материала, а попытался выйти на другой уровень обобщений.

Сделанный Кареевым категорический вывод был далеко не оригинален. Об этом писали С. М. Соловьев и другие его российские предшественники. Кареев же в особенности опирался на суждения польского ученого Михала Бобжиньского. Тот – в получившей широкий резонанс работе 1879 г. «Очерк истории Польши», утверждал, что «не

границы и не соседи, только наш внутренний разлад довел нас до потери государственного существования /.../ единственная причина этого [падения Польши. – Л. А.] заключалась в нашем внутреннем безнарядье» [Цит. по: Кареев Н. И. Новейшая польская историография и переворот в ней // Вестник Европы. 1886. Декабрь. С. 556].

Кареев не просто согласился с утверждением Бобжиньского, но и увидел в нем шанс для возможности примирения польской и русской позиций относительно понимания причин гибели Речи Посполитой – примирения, которое, на его взгляд, привело бы к сближению двух народов. Убеждение Н. И. Кареева, что «правдивая наука – лучший путь для установления человеческих отношений между обеими национальностями» (польской и русской) перекликается с одним из его тезисов философского порядка, где основная мысль сводится к тому, что «наука должна быть одним из органов *народного самосознания*» [Кареев Н. И. Основные вопросы... С. 219].

Л. П. Лаптева (МГУ)

Исследование Н. И. Кареева по истории Чехии и контакты с чешскими учеными

Жизнь и творчество Н. И. Кареева, внесшего столь важный вклад в русскую науку и культуру, достаточно освещены в отечественной литературе. Однако некоторые стороны его научной и общественной деятельности еще могут быть предметом исследования и служить уточнением особенностей многостороннего творчества ученого. К этим аспектам относятся, в частности, вопросы изучения Кареевым истории Чехии и контакты его с чешскими учеными и политиками. Научные изыскания Н. И. Кареева отразились в освещении средневековой истории Чехии, в частности гуситского движения в XV в. Это явление чешской истории Кареев оценил в первой книге многотомной «Истории Западной Европы в новое время», вышедшей с 1892 по 1917 гг.

В отличие от существовавших в русской историографии того времени славянофильских оценок гуситского движения как религиозного стремления чехов к православию, Кареев обратил внимание на многоплановость этого движения, выделяя сочетание религиозных и национальных мотивов, но, указывая на тесную связь религии и политики, подчеркнул, что причины религиозных реформ следует искать в области материальных отношений – экономических и политических. По его мнению, религиозный конфликт в Чехии скрывал под собой социальный разлад, и гуситское движение было социальной революцией. Гуситское общество он классифицирует по имущественному принципу.

Н. И. Кареев проводит сравнение гуситского движения с реформацией XVI века в Европе. По его мнению, историческая обстановка в

Чехии начала XV в. сильно напоминала обстановку реформационной эпохи, наступившей для Западной Европы через столетие после сожжения Гуса. Кареев отмечает также непосредственную преемственность между гуситским движением и крестьянской войной в Германии. Свое сравнение ученый заключает утверждением, что не только в Германии в XVI, но и в Англии XVII в. повторилось то, что происходило в Чехии в XV в., т. е. совершилась социально-политическая революция, сопровождавшаяся реформацией. В этом взгляде нельзя не заметить преувеличение значения гуситского движения. События в Чехии XV века ограничивались пределами одной страны, остальная Европа на них не только не откликнулась, но и была настроена враждебно. Говоря о Гусе, Кареев и его относит к предшественникам реформации XVI в., хотя и признает, что прямого переноса идей Гуса в XVI век не было.

Заслуживает внимания оценка Кареевым гуситских партий, в разногласиях которых он видит социальные моменты. Он подробно разбирает идеологию таборитов и объясняет социальный смысл учения. Кареев оказался первым из русских авторов, осознавших социальный характер учения адамитов и пикартов. Однако он полностью доверился тем враждебным Табору источникам, в которых речь идет об отступлении пикартов и адамитов от общепринятых норм нравственности – иудаизм, общность жен и т. д. Кареев был также первым русским автором, рассмотревшим взгляды Яна Гуса в динамике. В противоположность историкам-славянофилам и представителям концепции славянской взаимности он считал, что Гус вырос на почве западной культуры и не может быть лозунгом для всего славянства в его противопоставлении романо-германскому западу. В целом освещение Кареевым гуситского движения отвечало наиболее прогрессивным современным оценкам этого явления в европейской историографии. Гусизм рассмотрен на общем фоне европейской истории, автор понимает сложную структуру движения, социальную подоплеку религиозных учений и действий гуситской эпохи, хотя характеристика исторического значения гуситского движения Кареевым не может быть признана исчерпывающей.

Контакты Кареева с чешской интеллектуальной элитой были достаточно богаты и плодотворны. Особенно близким знакомым Кареева был профессор философии Томаш Гаррик Масарик, человек с широким философским кругозором и большим политическим талантом, позднее – первый президент Чехословацкой республики. Дружеские отношения сложились у Кареева и с крупнейшим чешским историком, основателем чешской позитивистской исторической школы Ярославом Голлом (1846–1929). Я. Голл был создателем и редактором журнала «Чески Часопис Хисторицки», и в 1901 г. в этом журнале была напечатана статья Кареева «Русский историк итальянского гуманизма» о М. С. Корелине. В том же журнале было опубликовано сообщение Кареева о книге И. М. Гревса «Очерки по истории римского землевладе-

ния» (1899). Кареев также поддерживал контакты с учеником Голла Ярославом Бидло (1868–1837), основателем исследований истории Восточной Европы. В 1899 г. чешский историк опубликовал статью о деятельности историков Петербурга, где приводится подробная характеристика научного творчества Кареева. Бидло оценивает Кареева как ученого и человека прогрессивных взглядов.

В 1900 г. Кареев в очередной раз посетил Прагу, что явилось поводом для сообщения о его научной деятельности и в журнале «Словански Пржеглед», основателем и редактором которого был Адольф Черный (1864–1952), этнограф и публицист, беллетрист, поэт и переводчик, сторонник славянской культурной взаимности, с которым Кареев также поддерживал дружеские отношения. В этом журнале за 1900 г. А. Черный поместил заметку о Карееве, назвав его выдающимся историком, социологом и публицистом, «мужем правды и справедливости». 21 июня 1901 г. Кареев, прибыв в очередной раз в Прагу, прочитал здесь в «Умелецкой Беседе» лекцию о главнейших направлениях русской общественной мысли в XIX столетии.

Кареев общался также с известным чешским историком Й. Пекаржем, этнографом Ч. Зибртом, археологом Л. Недерле, юристом К. Кадлецом, политическим деятелем К. Крамаржем и др. «Беседы с чешскими политиками и их указания на литературу, интересовавшую меня, много мне помогли ориентироваться в их внутренних отношениях для моей “Истории Западной Европы”», – писал ученый. Русский профессор был авторитетным ученым, уважаемым в среде чешских интеллектуалов. Они ценили широту его взглядов, необычайную эрудицию и феноменальную работоспособность, позволившую ему создать важнейшие труды в различных областях гуманитарного знания.

В. П. Ефименко (Сыктывкарский ГУ)

Н. И. Кареев и А. Н. Веселовский

Известно то предпочтение, которое Кареев-историк отдавал работе «синтетической, обобщающей и объединяющей» перед «аналитической, детальной и изолирующей». Аналогичное направление отчетливо видно и в его литературоведческих трудах, в частности, в книге «Литературная эволюция на Западе» (1886), которая «с точки зрения философии исторического процесса вообще» обосновывала необходимость эволюционной теории истории литературы. Сам Кареев считал эту книгу одним из «подготовительных этюдов» в предпринятой им «разработке общей теории исторической эволюции».

Теоретическим предварением книги Кареева стала его статья «Что такое история литературы?» (1883). Для Кареева она несводима ни к психологической истории общества, ни к истории идей, ни к истории

духовной культуры. Хотя литература в широком смысле есть явление духовной жизни, суть литературы составляет идейное содержание жизни, выражение души народа на самой ранней стадии рождения поэзии, воплощение философии века в дальнейшем развитии. История литературы должна заниматься не только содержательной стороной памятников словесности потому, что «имеет дело с идеями, взятыми не в их отвлеченности, а в нераздельном целом литературного произведения», т.е. в целостной слитности формы и содержания. Она не может быть историей «результатов» творчества. Ее предметом должна стать «эволюция художественного воспроизведения жизни в связи с эволюцией личных и общественных идеалов, а также форм и направлений литературного творчества». В этой обобщающей формулировке объединяются представления сторонников культурно-исторической методологии об истории литературы как истории общественных идей с принципами изучения меняющихся форм литературного творчества, выдвинутыми в исторической поэтике Александра Веселовского.

Стержнем историко-литературных работ должно быть, по мнению Кареева, раскрытие взаимодействия творчества и традиции. В книге «Литературная эволюция на Западе» он формулирует основные проблемы истории литературы. Каковы традиционные элементы литературы и каково их происхождение? Как происходит процесс падения одних традиций и утверждения других? Какова степень освобождения творчества от традиций (ограниченная или полная)? Что вносит творчество из жизни в традицию и как при этом меняется сама традиция?

По вопросу о границах личного творчества в литературе Кареев полемизирует с Веселовским. Он выступает против излишнего, как ему кажется, ограничения личного творчества литературной традицией у Веселовского, который в работе «О методе и задачах истории литературы как науки» утверждал, что «каждая новая литературная эпоха работает над исстари завещанными образами, обязательно вращаясь в их границах, позволяя себе лишь новые комбинации старых». В ответ на гипотетический вопрос Веселовского, не ограничено ли творчество «устойчивыми мотивами», первообразы которых встречаются «в эпической старине и далее, на степени мифа», Кареев резонно утверждает, что не иссякла в течение человеческой истории способность к созданию первообразов, что движение жизни создает и новый материал для творчества новых образов, а не только наполняет старые образы новым пониманием. История литературы, для Кареева, не сводится к рассмотрению «истории старых образов, проникающихся новым содержанием жизни». Теория Веселовского, как и теория И. Тэна, у которого писатель оказывается только продуктом обстоятельств, «рассчитаны, главным образом, на объяснение наименее лично-оригинальных авторов, но и последние ведь не простые же органы традиций и среды».

«Запоздалая», по определению Кареева, критика касалась только самого раннего методологического манифеста Веселовского, существенно откорректированного в позднейших работах. Веселовский впоследствии станет развивать новый принцип литературной эволюции – влияние на традицию личного почина. Это изменение сразу же было замечено Кареевым. В рецензии на книгу Веселовского «Из истории романа и повести» он одобрительно отзовется и о теории первобытного синкретизма, и об общей схеме литературной эволюции «в виде последовательности эпоса, лирики, драмы и романа», и особенно выделит мысль Веселовского о том, что «параллельно с этой последовательностью наблюдается ослабление традиционных элементов творчества и развитие в нем личного начала». Новая работа Веселовского утвердила Кареева в мысли о необходимости создания «теории собственно самой истории литературы», и не нормативно-эстетической, а эволюционной. В заключение Кареев заявил, что рецензируемый труд «упраздняет» его прежние критические замечания в адрес Веселовского.

Отношение Веселовского к замечаниям Кареева и к его литературоведческой методологии не вполне ясно. В 1889 г. на заседаниях Общества романо-германской филологии книга Кареева о литературной эволюции стала объектом дискуссии. И. Э. Мандельштам на заседании 3 февраля заявил о непримиримом противоречии между признанием свободы личного творчества и требованиями эволюционной теории. Веселовский, судя по опубликованным протоколам, своей точки зрения не высказал. На заседании 22 февраля Мандельштам утверждал, что нет никакой разницы «между прежними и теперешними воззрениями» Веселовского, которую Кареев отмечает в рецензии. Проясняя свою позицию, Кареев заявил о стремлении к «синтезу противоположных воззрений» в понимании сущности взаимодействия творчества и традиции, чему будет посвящен готовящийся к печати третий том его «Основных вопросов философии истории». Веселовский отсутствовал на этом заседании. Последний протокол (от 3 марта) лишь констатировал, что Мандельштам, Кареев и Веселовский – «остались при прежнем своем мнении об этом трудноразрешимом вопросе».

Сыграли ли замечания Кареева какую-то роль в научном развитии Веселовского? Акад. В. Н. Перетц скажет, что изменение позиций Веселовского произошло под воздействием критики Кареева, и назовет Кареева, вместе с Веселовским, крупнейшим представителем эволюционной точки зрения на литературу. Влияние методологических разработок Кареева на Веселовского отметит позднее акад. В. М. Жирмунский.

С другой стороны, кареевские оценки работ Веселовского середины 1880-х гг. позволяют говорить и о возможности воздействия создателя «исторической поэтики» на вызревание взглядов историка-социолога на «сущность исторического процесса и роль личности в истории».

**«Младшее поколение» школы Н. И. Кареева
в контексте гуманитарного знания конца XIX – начала XX вв.**

Деятельность и творчество представителей петербургской школы новистики, основателем которой являлся Н. И. Кареев, на долгое время были преданы забвению. Однако сегодня ситуация изменилась, и в кареевведении оформилось несколько направлений изучения этой школы. Первым из них является источниковедческое, ставящее своей задачей издание архивных трудов Н. И. Кареева и его учеников, а также переиздание наиболее значимых работ ученого. Другим перспективным направлением стало изучение научной школы Н. И. Кареева, «выучку» в которой прошли более трех десятков его учеников. К старшему поколению этой школы относят В. Г. Василевского, В. А. Мякотина, П. А. Конского А. М. Ону, П. П. Митрофанова и В. А. Бутенко. Не менее значимы и представители младшего поколения, многие из которых стали известными историками. Именно этому поколению, к которому причисляются Я. М. Захер, П. П. Щеголев, В. В. Бирюкович, Н. П. Соколов и другие, суждено было стать связующим звеном между так называемыми «старой» буржуазной и «новой» марксистской школами. В связи с этим изучение творчества «младших» учеников Н. И. Кареева устраняет разрыв с традициями дореволюционных научных сообществ и восстанавливает целостность российской исторической науки.

Все упомянутые ученики мэтра были известными учеными, профессорами, их работы переводились на иностранные языки, их знания были востребованы. Научное наследие и творческий путь «младших» учеников Н. И. Кареева исследованы в различной степени. Так, о Я. М. Захере единственной обобщающей работой является статья В. П. Золотарева в «Новой и новейшей истории» (1993. № 4), В. В. Бирюковичу посвящены не только статья в упомянутом журнале (2001. № 6), но и кандидатская диссертация О. И. Зезеговой, творчество Н. П. Соколова изучается в Нижегородском государственном университете, в то время как наследие П. П. Щеголева не учтено и не изучено. Более того, есть ряд имен – И. Л. Попов-Ленский, Е. Н. Петров, А. А. Матвеева-Леман, С. М. Данини, названных Н. И. Кареевым в воспоминаниях наряду с упомянутыми выше «способными и обещающими в будущем учеными». Мы можем констатировать, что такое явление как «младшее поколение» школы Н. И. Кареева в достаточной степени не изучалось в исторической науке, однако это направление актуально и значимо, поскольку создает преемственность поколений дореволюционной, советской и современной российских научных школ.

Я. М. Захера, П. П. Щеголева, В. В. Бирюковича, Н. П. Соколова объединяет не только то, что они были выходцами из петербургской

школы новистики Н. И. Кареева и посещали его «повышенный семинарий», но и тематика трудов. Проблематика их исследований – всеобщая история, и, прежде всего, история Франции в период ранней нового времени и новой истории. Н. П. Соколов, хотя и специализировался, прежде всего, на истории Венеции и Византии, его кандидатская диссертация, защищенная им в 1943 г., не выходит за рамки научных предпочтений учеников Н. И. Кареева и посвящена взглядам французского экономиста, философа, историка Тюрго.

Как и Н. И. Кареев его ученики молниеносно откликнулись на злободневные проблемы гуманитаристики в виде рецензий, активно участвовали в проходивших в Институте Истории АН СССР дискуссиях по вопросам новистики и медиевистики. Подобно учителю, представители «младшего поколения» кареевской школы не разделяли научную и педагогическую работу на какие-то две независимые друг от друга ипостаси, и в этом вновь проявляется взаимосвязь поколений историков.

Главнейшим методологическим правилом работ учеников Н. И. Кареева было скрупулезное изучение исторических источников, прежде всего, архивных, неизвестных. Ремесло историков его школы по новистике отличалось от марксистской. Это отличие состояло в отказе от схематизации и упрощения истории, которыми грешили некоторые авторы (М. Н. Покровский, Б. Ф. Поршнев и др.). Несмотря на возможные негативные последствия, ученики Н. И. Кареева отстаивали принцип построения работ на первоисточниках («безбоязненно пуститься в море подлинного исследования»), а не на цитатах классиков марксизма-ленинизма («не ограничиваться только суждениями Маркса и Ленина»). Как видим, неизменной остается «научная лаборатория» историков, перенятая в годы учения у Н. И. Кареева: глубокий анализ литературы по проблеме, использование нетронутых материалов, их критический анализ, построение исследования на исторических источниках.

Судьба у всех сложилась по-разному. Не всем удалось избежать репрессий, есть и те, кто дожил до глубокой старости. Кто-то пытался в новых условиях заниматься подлинно научными исследованиями, кто-то действительно воспринял новые подходы как свои собственные, кто-то отстранился от научной деятельности, однако никто прилюдно не объявлял себя учеником Н. И. Кареева. Были и те (П. П. Щеголев), кто открыто выступал против «буржуазного историка».

В итоге, приходится признать наличие не только преемственности, но и разрывов в отношениях «учитель-ученик». Эти разрывы проявляются не только и не столько в личных взаимоотношениях, сколько в разрыве традиций с петербургской школой новистике (являющейся наследницей *Ecole russe*), противопоставлении себя Н. И. Карееву.

Н. И. Кареев – критик Евразийства

В последние годы о евразийском движении писалось много, причем не только в России, но и за рубежом. Во многих статьях и монографиях о Евразийстве уделялось внимание также критикам движения, прежде всего, из среды русской эмиграции, в частности Г. В. Флоровскому, Н. А. Бердяеву, П. М. Бицилли, П. Н. Милюкову, П. Б. Струве, Ф. А. Степуну и А. А. Кизеветтеру.

В конце 1920-х гг. евразийцы, и в частности П. Н. Савицкий, активно пересылали свои книги почтой в Советский Союз, адресуя их, прежде всего, советским историкам и географам. Одним из получателей подобных посылок был Н. И. Кареев. В середине ноября 1927 г. к нему пришла из Праги брошюра П. Н. Савицкого, определяющая Россию как «особый географический мир», и книга Г. В. Вернадского о русской истории с приложением статьи Савицкого «Геополитические заметки по русской истории». И уже 2 декабря 1927 г. в Прагу отправился с обстоятельный отзыв. Критический разбор Кареевым взглядов евразийцев является свидетельством попыток русских историков, несмотря на политические препятствия, поддержать научное общение со своими коллегами за рубежом. Также этот отклик, свободный как от излишне восторженного поклонения евразийцам, типичного для многих сторонников движения за рубежом, так и от крайнего их осуждения, нередкого среди русских историков в эмиграции и советских авторов, представляет собой редкий пример взвешенного отношения к евразийским идеям. Даже сам П. Н. Савицкий, хотя и не был согласен с критическими высказываниями ученого, признавал, что это «одно из наиболее замечательных писем «позднего» Кареева».

Кареев, давно занимавшийся вопросами историографии и исторической методологии, был хорошо подготовлен к критическому разбору евразийских идей. В частности, еще в 1889 г. он подверг критике книгу Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», выделявшую, как позже и некоторые евразийцы, некие «культурно-исторические типы». Критика Кареева касалась, прежде всего, попыток Данилевского дать «научное» обоснование своим взглядам и его утверждений о невозможности общей теории общества, которая, как и все явления в этой области, якобы являлась исключительно национальной. Кареев, напротив, доказывал, что наука не может ограничиваться национальными рамками. Он также отметил противоречивость и непоследовательность Данилевского, в частности, в отрицании общечеловеческого и одновременном провозглашении мировой роли славянства; отрицании единой линии развития человечества, но допущении культурной преемственности.

С подобной точки зрения Кареев рассматривал и работы евразийцев. Он оговорился, что не будет касаться географических и экономических соображений Савицкого, с которыми был согласен, и отметил, что не очень хорошо знаком с евразийскими идеями, так как ему неизвестны работы других евразийских авторов, в частности Н.С. Трубецкого и Л. П. Карсавина. Тем не менее, он определенно высказался, что евразийская доктрина кажется ему «неприемлемой», так как видел в ней «продолжение теории Н. Я. Данилевского». Кареев отмечал, что Савицкий, как Данилевский и О. Шпенглер, писал «о некоторых замкнутых мирах». Он охотно соглашался, что Евразия представляет собой «обособленное природой место развития», но не считал возможным выводить отсюда утверждение «об общности всех культур, принадлежавших разным народам, которые здесь жили». Попытки Савицкого доказать единую культуру всех народов, живущих на территории Евразии, с помощью археологии не могли убедить Кареева. По его мнению, археология не могла свидетельствовать о духовной и социальной стороне культуры. Кареев соглашался, что «между природой страны и населяющим ее народом и его культурой происходит взаимодействие», но он решительно утверждал, что «тут нет никакой мистически предустановленной гармонии взаимного выбора страны народом и народа страной».

Савицкий долго не отвечал на критику Кареева, предполагая отправить позже вместе с письмом готовившуюся им книгу «Культуры древней Евразии». Только 20 сентября 1928 г. он послал Карееву письмо и свою статью «О задачах кочевниковедения». В письме он решительно настаивал, что «между культурой и месторазвитием существует *предопределенное* соответствие». Он видел его, в частности, в том, что территория, заселенная в древности, согласно Геродоту, кочевниками-скифами, в современности имеет аналогичные свойства. Он также утверждал, что изначально заселив эту территорию с востока, скифы «так сказать, выбрали ее в качестве своего месторазвития».

Кареев ответил Савицкому немедленно. Несмотря на полученные разъяснения, он по-прежнему относился скептически к евразийским теориям. С одной стороны, он приветствовал многочисленные указания Савицкого на влияние природных условий на русскую историю, собираясь даже ввести подобные соображения в курс исторической географии, который он читал на географическом факультете Ленинградского университета. С другой стороны, Кареев по-прежнему отвергал метафизические выводы Савицкого о какой-либо предопределенности, соглашаясь лишь с существенными оговорками признать «предрасположенность врожденной способности к тому или другому». Возражения Кареева вызвал даже сам термин «предопределенность». Тем не менее, к научной работе Савицкого Кареев отнесся весьма сочувственно, пожелал, чтобы скорее вышла в свет задуманная им книга «Культура

древней Евразии»», и согласился, «что русские действительно призваны... к научной работе в этой области». К сожалению, этим и закончилась переписка двух ученых. Причин тому, по крайней мере, было две. План Савицкого написать книгу по культуре Евразии, как и многие другие его проекты, не осуществился. Вместо спокойной научной работы с конца 1928 г. он был целиком занят подготовкой газеты «Евразия» и попытками сохранить единство раскалывавшегося на части движения. С другой стороны, внутривосточные изменения в Советском Союзе с конца 1920-х гг. и установление сталинского режима сделали научные связи советских ученых с заграницей опасными для жизни. В декабре 1928 г. за научные контакты с русскими эмигрантами в Праге подвергся травле коллега Кареева ленинградский историк античности С. А. Жебелев, а в начале 1930-х гг. настоящие или мнимые связи с членами евразийского движения даже стали поводом для репрессий и казней, в частности среди научной общественности. Впрочем, подобная судьба Н. И. Кареева миновала. Ученый скончался в 1931 г.

М. И. Козлова (Сыктывкарский ГУ)

**О пользе чтения классиков: опыт использования методологии
Н. И. Кареева для реконструкции психологического портрета
кн. М. М. Щербатова**

Изменения, происходящие в последние десятилетия в методологии гуманитарных наук, инициируют интенсивную рефлексию относительно сложившихся историографических стереотипов, ведут к пересмотру старых парадигм и поиску новых методов решения проблем. При этом не следует отказываться от опыта, который был накоплен российской историко-теоретической мыслью XIX и XX вв.

В процессе работы по реконструкции психологического портрета российского публициста и историка XVIII века кн. Михаила Михайловича Щербатова (1733-1790), нам пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Ни одному из исследователей его творчества не удалось в должной мере передать уникальный внутренний мир Щербатова, объяснить мотивацию поступков, т. е. в полной мере раскрыть его индивидуальность. Ситуация поиска адекватного ответа стимулировала наше обращение к общетеоретическим работам по проблемам личности.

Одним из наиболее авторитетных исследователей в этой области продолжает оставаться Николай Иванович Кареев (1850–1931), который помимо решения конкретных исторических проблем, много занимался анализом таких вопросов как роль и место личности в истории, феномен политической и индивидуальной свободы и т. п. При этом богатое наследие ученого редко используется как методологический инструмент для решения частных исследовательских задач.

Программным сочинением, отражающем представления Щербатова об идеальном человеке и гражданине, его взгляды на проблему взаимоотношений личности и власти, является «Разговор между двух друзей о любви к отечеству». При буквальном прочтении этого произведения позиция автора кажется вполне прозрачной и непротиворечивой. Она выражена одним из героев диалога Филопатрисом и сводится к тому, что «всякий добрый гражданин» должен собственные интересы принести в жертву интересам государства. Однако завершающая мысль произведения Щербатова, что «не стадо для пастыря сделано, а пастырь для стада» позволила обнаружить двусмысленность основной идеи «Разговора...». С упомянутой фразой перекликается ответ Христа фарисеям «суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:27), неоднократно цитируемый Кареевым для подтверждения мысли о том, что нельзя нарушать внутренней свободы человека, смотреть на него, как на зависимую от государства вещь и делать средством для достижения посторонних ему целей или, другими словами, «не люди существуют для государства, а государство для людей».

Случайно ли обнаруженное нами сходство идей «убежденного крепостника-реакционера» Щербатова и либерала, т. е. в этом смысле его антипода, – Кареева? Для выяснения этого вопроса мы воспользовались еще одним положением, к которому в подобных случаях неоднократно прибегал Кареев, а именно: «одинаковые причины приводят к одинаковым следствиям», тем более что в биографиях Щербатова и Кареева удалось обнаружить некоторые параллели и аналогии.

Будучи представителями дворянского сословия, они выделялись на фоне современников чрезвычайно широким кругом научных интересов. Каждый из них считал своим долгом откликаться на острые вопросы современности и проявил себя как талантливый публицист. И Щербатов, и Кареев явились авторами крупных исторических трудов общего характера («История государства Российского» и «История Западной Европы в новое время»). Оба мыслителя при разработке проблем взаимоотношения индивидуума и власти обращались к греко-римскому наследию, полагая, что именно в античном мире был впервые сформулирован принцип индивидуальной свободы. Отметим также их опыт «хождения во власть» (Щербатов был членом екатерининской Уложенной Комиссии, Кареев – депутатом I Государственной Думы) и последовавшее за этим разочарование в политической деятельности.

При этом говорить о полной аналогии не приходится, ибо Кареев и Щербатов принадлежат разным историческим эпохам. Если на рубеже XIX–XX вв. для Кареева следование либеральной идее выглядит вполне естественным, то Щербатов, закрепощенный сословными предубеждениями «века Просвещения», мог ощущать ее привлекательность лишь на подсознательном уровне. Ситуация, когда «ум с сердцем не в

ладу» не могла не отразиться на внутреннем мире Щербатова, и именно это может служить одним из объяснений выясненной нами противоречивости его личности и взглядов.

Таким образом, наш опыт реконструкции психологического портрета М. М. Щербатова показал, что научное наследие классика исторической науки Н. И. Кареева не может считаться устаревшим и его применение способно принести ощутимую пользу.

Г. П. Мягков (Казанский ГУ)

Он был «хозяином в любой области историографии»: эмпирическое и философско-историческое в творчестве Н. И. Кареева

Неизменное присутствие историософских идей на поле научных изысканий составляет своеобразие русской исторической мысли второй половины XIX – начала XX вв., а равно – одну из сильных её сторон. В ряде случаев отечественные историки специально обращались к исторической метафизике, как это характерно для Н. И. Кареева. Поиски в сфере исторической эпистемологии ученый изложил в ряде исследований, прежде всего, в «Основных вопросах философии истории». Собственно философия истории предстала в его теоретических построениях как одна из частей разрабатываемой им науки об обществе, заняв место рядом с теорией исторического процесса и социологией. Именно широкий охват проблем истории и теории общества и послужил для Е. В. Тарле основанием той характеристики Н. И. Кареева как учёного и методолога, которая вынесена нами в заголовок.

Проблему выявления «законов развития и обобщений», которые помогут распутать «сложную ткань человеческой культуры», Кареев связывал не только с разработкой методов науки, но и с самим определением онтологии, что призвана выступить в качестве объекта исторического познания. Возможности социологии, включенной ученым в систему историософского знания, определялись развитием «идеографического соответствия», т.е. исторической науки. Кареев неоднократно подчеркивал, что предшественникам решить проблему «перехода» от идеографического к номологическому знанию не удалось, поскольку «за философские построения прошлых судеб человечества брались большей частью философы, бывшие только дилетантами в исторической науке» [Собр. соч. СПб., 1911. Т. 1. С. 11]. Развивая идеи Т. Н. Грановского и В. И. Герье, ученый исходил из того, что «только всеобщая история сообщает... знание связи событий, их причин и следствий и сопровождающих обстоятельств». Но обращение к «всеобщей истории» само по себе не вело к «скачку»: расширение предмета изучения за счет новых стран и периодов не продвигало к решению задачи

перехода на социологический уровень. Соответственно, одним из контрапунктов кареевской методологии становится истолкование вопроса, каким образом может историк реализовать свою функцию, связанную с открытием и исследованием законов развития общества (Там же. С. 27). Н. И. Кареев признавал за историком право иметь «социологическую точку зрения», а также доказывал правомерность перехода от анализа отдельных обществ «к изучению целой категории однородных в каком-либо отношении или во многих отношениях обществ» посредством как сравнительно-исторического анализа, так и «типологического» метода, который, в свою очередь, есть «шаг от чистой истории к социологии».

Выясняя особенности исследовательской программы Кареева, не представляется возможным уклониться от вопроса о том, к какому виду в системе общепринятой специализации дисциплинарной историографии относятся его научные творения. Скажем, можно ли причислять его к специалистам от положительного знания, или же его работы носят по преимуществу историософский характер? Еще в докторской диссертации Кареев сформулировал свое кредо исследователя: «Вообще изучение истории во всех мелочах даже немислимо. Историк приходится поэтому ограничиваться господствующими линиями, существенными направлениями, наиболее важными узлами». И если судить по результатам, наиболее рельефно представленным в комплексе работ 1900-х годов, прежде всего по знаменитым типологическим курсам и трудам, призванным дать «главные обобщения» всемирной истории, все эти работы проходят по разряду историософии. Да, они базировались на огромном материале; достаточно указать на комплекс источников, привлеченных ученым для осмысления истории Древнего Востока: Библия, сочинения античных авторов (Геродота, Ктесия, Манефона, Полибия, Аристотеля и др.), египетские, вавилонские, ассирийские и персидские надписи, взятые, однако, не в оригинале, а из сочинений западных востоковедов. Последние, по сути, для Кареева также являются «источниками», что лишний раз подчеркивает историософский характер его творений. В востоковедных работах Кареева содержатся многочисленные ссылки на сочинения Г. Гегеля, Т. Бокля, М. Карьера, Г. Вебера, на труды К. Бюхера, Г. Винклера, Г. Масперо, Э. Мейера, А. Море и др. Подобным образом «организует» ученый и источниковую базу исследований по другим эпохам и странам. Наряду с трудами, признанными образцами его теоретического синтеза, Н. И. Кареев – в отличие от Л. И. Мечникова и Н. Я. Данилевского – выступает одновременно в качестве творца исторической «классики», создав непревзойденные труды по проблемной истории и по истории Западной Европы нового времени. Этот опыт, несомненно, способствовал выработке профессиональной интуиции, имевшей чрезвычайное значение для развития таких областей как востоковедение и антиковедение. Потому ученого нельзя рассматривать в ряду только представителей исторической метафизики.

В трудах Н. И. Кареева явно просматривается связь между эмпирическими исследованиями современников (и российских, и западных) и конструкциями теоретиков – историков, социологов, философов. На стыке того и другого Кареев пытается «построить» *свою* точку зрения на конкретные периоды всемирной истории и добиться органической связи своих теоретических и конкретно-исторических работ.

Говоря на языке современного науковедения, в этих конкретно-исторических исследованиях Н. И. Кареев предстает в виде социологически информированного историка. Не менее, но и не более того. Грандиозный научный эксперимент Кареева, имевший целью создать дисциплинарно-организованную единую науку об обществе, может быть сопоставлен со «сверхпрограммой» А. Эйнштейна – попыткой создания Единой теории поля. И с таким же результатом – в целом отрицательным. Можно полагать, что на данном этапе развития научного знания, человеческого интеллекта вообще такого рода задачи не имеют решения. Или же, как в случае с марксизмом, приводят к созданию мифологии, ценностно-идеологических систем. Другое дело, что опыт Кареева в выстраивании единой социоисторической науки имел для развития научного знания большее значение, чем многие «удачные» научные проекты. Н. И. Кареев оказался одним из тех мыслителей, которые открывали новые исследовательские горизонты в социогуманитарном познании, среди них – идея и практика глубинного взаимодействия истории, социологии, философии и других систем гуманитарного знания.

В. А. Филимонов, М. И. Козлова (Сыктывкарский ГУ)

**Научное наследие Н. И. Кареева в библиографическом измерении:
опыт создания справочно-информационной системы
на основе гипертекста**

Одним из действенных путей формирования навыков использования компьютерных технологий в научной деятельности может стать гипертекст – форма организации семантической информации, разделенной на отдельные части, для каждой из которых перечислены переходы к родственным фрагментам с указанием типа связи. Обладая одновременно достоинствами энциклопедии, монографии и тезауруса, гипертекст является не просто средством изложения и репрезентации материала, но и, в силу своей нелинейности, предоставляет поистине неисчерпаемые возможности при организации мыслительного процесса. Нашей задачей является представление опыта применения гипертекстовых технологий, полученного в ходе создания электронной справочно-информационной системы «Н. И. Кареев: Библиографический указатель (1869–2007)».

Составление библиографии трудов Н. И. Кареева (1850–1931) – задача, успешное решение которой позволит придать новый импульс изучению многогранного научного наследия ученого. Справочно-информационная система включает разделы: «Основные даты жизни и деятельности Н. И. Кареева», пояснительная записка «Научное наследие Н. И. Кареева в библиографическом измерении», презентация Power Point «Портретная галерея», таблица гиперссылок «Опубликованные труды Н. И. Кареева (1869–1930)», Word-версия «Н. И. Кареев: Биобиблиографический указатель (1869–2007)», перечень «Посмертные издания и переиздания произведений Н. И. Кареева (1931–2006)», «Алфавитный список трудов Н. И. Кареева», аннотированный указатель «Литература о Н. И. Карееве».

Настоящий указатель превосходит все бывшие до него, включая в себя 900 названий работ ученого; однако, разумеется, и его нельзя считать исчерпывающим, поэтому поиск должен быть продолжен. Большинство книг, статей и заметок были просмотрены нами *de visu*, однако некоторые работы выявлены по библиографическим источникам, что в таких случаях стало причиной той или иной степени неполноты их описания. Основному тексту сопутствуют и существенным образом его дополняют библиографические (в т. ч. информация о рецензиях на труды Кареева – более 400 записей), биографические, фактологические примечания, часть из которых оформлена в виде гиперссылок на машиночитаемые ресурсы (в форматах *.html и *.pdf) или интернет-линков.

Рост интереса к творчеству Кареева вызвал необходимость составления как можно более полной библиографии исследований о нем. В нашем перечне учтено без малого 500 работ (более 100 имеют ссылку на полнотекстовую версию). Критерием включения той ли иной публикации в наш список стало наличие значительной информации о Карееве. Весь материал распределен по рубрикам: «Монографии и тематические сборники», «Авторефераты диссертаций», «Общие труды», «Статьи в периодических изданиях и сборниках», «Материалы к биографии», «Статьи в энциклопедиях, словарях и справочниках», «Библиография». Внутри рубрик работы расположены по хронологии, а в рамках одного года – в алфавитном порядке по авторам. Названиям на иностранных языках сопутствует перевод или краткая аннотация.

Продуктивная реконструкция интеллектуальной биографии любого ученого немислима без анализа социокультурной среды, в рамках которой формируется и развивается его мировоззрение и протекает научная деятельность. При этом немаловажную роль играет выявление и фиксация коммуникативного пространства. Одним из направлений нашей работы стал поиск, сбор, обработка и упорядочение сведений (к настоящему моменту на диске представлено около 400 гиперссылок) о персоналиях, упоминаемых в тексте указателя. В их число вошли лица, чьи фамилии или псевдонимы встречаются в названиях работ; соавторы

и соредакторы Н. И. Кареева, переводчики его трудов на иностранные языки, редакторы сборников, публиковавших его статьи; авторы, редакторы, составители и переводчики изданий, которые он рецензировал; авторы рецензий на его труды. Стандартный макет презентации включает в себя иконографию того или иного деятеля, его биографические данные с указанием источника, ссылки на Интернет-ресурсы. Эта работа вызвала немалые трудности, в связи с тем, что многие лица оказались незаслуженно забыты, сведения о них не зафиксированы в справочных изданиях, поэтому информацию пришлось собирать буквально по крупицам.

Продолжение работы предполагается осуществлять в нескольких направлениях:

- пополнение коллекции посредством поиска в Интернете полнотекстовых версий работ, иконографии ученого и его окружения, литературы о нем;
- оцифровка существующего в печатном виде материала путем сканирования, фотографирования и набора с клавиатуры;
- уточнение и расширение уже имеющихся данных;
- составление коллекции Интернет-ссылок по теме;
- составление оцифрованных картотек работ историка из электронных каталогов библиотек в формате оригинала;
- постепенное преобразование существующей версии коллекции в сплошной гипертекст, насыщенный ссылками на найденные и созданные ресурсы, что в итоге позволит выставить во «всемирной паутине» продукт, обладающий всеми признаками полноценного тематического электронного ресурса.